

Р И Ч А Р Д Р У С С

НЕПОСРЕДСТВЕННЫЙ

ЧЕЛОВЕК



Р О М А Н



Ричард Руссо

Непосредственный человек

«Фантом Пресс»

1997

УДК 821.111
ББК 84(7Coe)

Руссо Р.

Непосредственный человек / Р. Руссо — «Фантом Пресс», 1997

ISBN 978-5-86471-862-9

Веселая и честная, сострадательная и остроумная история длиной в одну невозможную неделю, случившуюся в жизни Хэнка Деверо. С неохотой и против собственной природы Уильям Генри Деверо Младший, предпочитающий, чтобы его звали запросто Хэнк, руководит английской кафедрой в захудалом колледже где-то в ржавом поясе Пенсильвании. Сам Хэнк по натуре наблюдатель и анархист, но кафедра стремительно разваливается даже без его усилий. В течение недели Хэнку предстоит пройти через массу испытаний и даже катастроф. Рассвирепевшая коллега разобьет ему нос, аспирантка попытается его соблазнить, по местному ТВ его обвинят в казни гуся, родной отец прибудет с желанием примириться навсегда, а некоторые функции организма вдруг объявят забастовку. Печальный и смешной роман про академических неудачников, про свободу-несвободу и просто про хороших людей. В формате a4.pdf сохранен издательский макет. Больше интересных фактов об этой книге читайте в ЛитРес: Журнале

УДК 821.111

ББК 84(7Coe)

ISBN 978-5-86471-862-9

© Руссо Р., 1997

© Фантом Пресс, 1997

Содержание

Пролог	6
Часть первая	11
Глава 1	12
Глава 2	26
Глава 3	32
Глава 4	43
Глава 5	49
Глава 6	56
Глава 7	61
Глава 8	66
Конец ознакомительного фрагмента.	67

Ричард Руссо

Непосредственный человек

Роман

Нату и Джудит

Особая благодарность за веру в меня, за усердный труд и добрый совет Дэвиду Розенталю, Элисон Сэмюэл и Барбаре Руссо; за техническую помощь и/или вдохновение – Джин Финдлей, Эду Эрвину, Тони Кацу, Грегу и Пегги Джонсон, Кьель Мелинг и Крису Кокинису.

Richard Russo
Straight Man

* * *

Все права защищены. Любое воспроизведение, полное или частичное, в том числе на интернет-ресурсах, а также запись в электронной форме для частного или публичного использования возможны только с разрешения владельца авторских прав.

Книга издана с любезного согласия автора и при содействии литературного агентства Permissions & Rights Ltd.

Copyright © 1997 by Richard Russo
All rights reserved
© Любовь Сумм, перевод, 2020
© Андрей Бондаренко, оформление, 2020
© «Фантом Пресс», издание, 2020

Пролог

Приятно иметь их. Собак.
Фрэнсис Скотт Фицджеральд «Великий Гэтсби»

По правде говоря, я человек не легкий. Могу иногда быть занимательным, хотя, по моему опыту, большинство людей вовсе не хотят, чтобы их занимали. Утешения – вот чего они жаждут. К тому же мои представления о занимательном вполне могут не совпадать с вашими. Я совершенно согласен со всеми теми зрителями, кто идет в кино со словами: «Я просто хочу развлечься». Такую популистскую позицию мои академические коллеги высмеивают как простецкую, неутонченную, как симптом слабых аналитических и критических способностей. Но я согласен с таким подходом, и я тоже просто хочу развлечься. А тот факт, что меня почти никогда не занимает то, что занимает других людей, которые просто хотят развлечься, не означает, что мы несовместимы философски, – он означает лишь, что нам не стоит ходить в кино вместе.

Какой я человек? По мнению тех, кто ближе прочих меня знает, – невыносимый. А по словам моих родителей, я и ребенком был невыносимым. Они развелись, когда я учился в средней школе, и чуть ли не единственное, в чем они согласны, – что я был невыносимым ребенком. Истории о юном Уильяме Генри Деверо Младшем и его первой собаке пугающе схожи в фактах, выводах и даже в стиле изложения, независимо от того, кто из них ее рассказывает.

Мне было девять лет; принадлежащий университету дом, в котором мы тогда жили, стал уже четвертым на моем веку. Мои родители были академическими кочевниками, отец и тогда, как и сейчас, был оппортунистом, неизменно в авангарде того, что на тот момент считалось в литературной критике трендом и шиком. Тогда, в пятидесятые, Новая критика¹ уже устарела в его глазах. В средний возраст он вступил профессором, автором нескольких опубликованных книг, и все они считались «горячими», все вызывали оживленную дискуссию на кафедральных вечеринках с коктейлями. Из всех университетских должностей он предпочитал статус приглашенного профессора – обычно эту вакансию создавали специально для него – и не задерживался на одном месте более чем на год-два – наверное, потому, что трудно оставаться «выдающимся» среди людей, которые хорошо тебя узнали. Преподаванием он себя не перегружал – курс, максимум два в год. От него требовалось читать и мыслить, писать и публиковать книги, поминая в благодарностях очередной монографии щедрость академического института, обеспечивавшего ему неплохую жизнь. Мою мать, также преподавателя английской литературы, нанимали в паре с отцом – она получала полную академическую нагрузку, тем самым несколько уравновешивая его писательство.

Мы жили в элегантных старых домах с высокими потолками и сильными сквозняками – либо в самом кампусе, либо поблизости. Настоящий паркет и дымные каминные, их зажигали, лишь когда мой отец восседал во главе стола, то есть во второй половине дня в пятницу – просторные комнаты наполнялись заискивающими младшими сотрудниками кафедры и нервными аспирантами – или вечером в субботу, когда мама готовила торжественный ужин для главы кафедры, декана или заезжего поэта. В любом месте я оставался единственным ребенком и, видимо, очень одиноким, судя по тому, что больше всего на свете я мечтал о собаке.

Предсказуемо – родители и слышать об этом не хотели.

Возможно, условия проживания в университетских домах включали пункт о домашних животных. К тому времени, как мне исполнилось девять, я уже год, а то и два настойчиво

¹ Новая критика – самая авторитетная школа в англо-американском литературоведении с 1930-х по 1970-е годы. – *Здесь и далее примеч. ред.*

требовал собаку. Папа с мамой надеялись, что я перерасту эту мечту, нужно лишь подождать. Я видел эту надежду в их глазах, и моя решимость лишь возрастала, желание усиливалось. Что я хочу на Рождество? Собаку. Что я хочу на день рождения? Собаку. Второй сэндвич с ветчиной? Собаку. Огромное удовлетворение доставляли мне затравленные взгляды, которыми родители обменивались в такие моменты. Если уж я не могу получить собаку, то хотя бы их помучить.

Так и шла наша совместная жизнь, пока мама не допустила промах – серьезнейшую ошибку, вызванную отчаянием и эмоциональным истощением. Ей гораздо больше, чем моему отцу, требовался счастливый ребенок. Однажды весной, после того как я особенно жестоко ее донимал, мать усадила меня и сказала:

– Знаешь, собаку надо заслужить.

Отец, услышав это, поднялся и вышел из комнаты, тем самым угрюмо признав, что мать только что капитулировала. Она вздумала обставить приобретение собаки условиями. Условия будут суровыми, их будет множество, и я не сумею их выполнить, так что если я останусь без собаки, то исключительно по своей собственной вине. Так она рассуждала, и сам факт, что она полагалась на подобный план, доказывает: некоторым людям не следует становиться родителями, и моя мать – как раз из таких людей.

Я сразу же задействовал собственный план, рассчитанный на то, чтобы извести мать. В отличие от ее плана, мой был прост и без изъяснов. Проснувшись утром, я принимался болтать о собаках и, засыпая ночью, продолжал твердить о них. Родители меняли тему разговора, но я возвращал ее в нужное русло. «Кстати, о собаках», – произносил я, вилка с куском пожаренного матерью мяса замирала у моих губ, и я вновь заводил свою песню. И неважно, говорил ли кто-то перед тем о собаках, – теперь мы говорили о них. В библиотеке я каждые две недели брал полдюжины книг о собаках и раскладывал их, раскрытыми, по всему дому. Я тыкал пальцем в собак, мимо которых мы проходили на улице, в собак на экране телевизора, в журналах, которые выписывала мама. Каждый раз за завтраком или ужином я обсуждал и сравнивал преимущества различных пород. Отец редко прислушивался к моей болтовне, но я подмечал, как твердые основы материнского характера поддаются под соленой приливной волной моего упорства, и когда счел, что мать вот-вот рухнет, я взял все свои сбережения до последнего цента и купил ослепительный, сверкающий стразами ошейник с поводком, который высмотрел в роскошном зоомагазине на соседней улице.

В ту пору, когда мы постоянно «говорили о собаках», я вовсе не был примерным мальчиком. Мне вменено было «заслужить собаку», и я без конца уточнял у мамы, как обстоят мои дела, какую часть собаки я уже заработал, однако, боюсь, поведение мое не изменилось ни на йоту. Я не был и скверным мальчишкой – просто шумным, приставучим, мне все время чего-то не хватало. Мистер Туда-Обратно, прозвала меня мама, потому что я вечно входил в комнату и тут же выходил, выбегал во двор и возвращался, открывал холодильник и захлопывал. «Генри, – делала мне замечание мать, – ты где-то оставил включенным свет». Чаше прочего мне требовалась от родителей информация, и я перебивал мать посреди чтения и проверки работ, чтобы получить желаемое. Отец, отчасти и для того, чтобы избежать моих вопросов, проводил большую часть дня в своем университетском кабинете с книжными полками по всему периметру, присоединяясь к маме и ко мне только за едой, и тогда у нас происходил семейный разговор о собаках. Затем он удалялся, в блаженном неведении – так представлялось мне тогда, – и мама еще долгое время после его ухода бросала убийственные взгляды на его стул. Но отец утверждал, что заканчивает книгу, над которой в ту пору трудился, и это было достаточное оправдание в глазах женщины, наделенной столь глубоким абстрактным уважением к книгам и любым знаниям, как моя мама.

Постепенно она стала понимать, что ведет обреченный бой, и ведет его в одиночку. Теперь я знаю, что это была лишь часть горестных открытий о состоянии ее брака, но в тот момент я не чуял в воздухе ничего, кроме надвигавшейся победы. В конце августа, в дни, как

говорится, «собачьей жары», она выставила последнее, слабое условие – окончательное доказательство того, что я заслужил свою собаку. Я смягчился и честно постарался исправить свое поведение. Самое меньшее, что я мог для нее сделать.

Вот о чем мама просила меня: перестать хлопать уличной дверью. Надо сказать, дом, где мы жили, был своего рода акустическим дивом, подобным Галерее шепотов в соборе Святого Павла – там приглушенные голоса преодолевают огромное открытое пространство и достигают, отчетливые, неизменившиеся, другой стороны гигантского купола. В нашем доме, когда уличная дверь захлопывалась, притянутая тугими петлями, и деревянный ее край врезался в дверной косяк, грохот, подобный выстрелу в гитарный звукосниматель, разносился по дому – идеально, с одинаковой силой и ясностью, по всем помещениям верхнего и нижнего этажа. В то лето я десятки раз за день выбегал и вбегал через эту дверь, и мама говорила, она живет словно в тире. Иногда ей хотелось, чтобы дверь и впрямь стреляла, и не холостыми. Если я буду придерживать дверь, у меня появится собака. Скоро.

Я очень старался и примерно через раз придерживал дверь. Когда же забывал, то возвращался и извинялся, иногда снова забывая при этом придержать дверь. И все же я старался, и это, а также то, что я повсюду носил при себе дорожный ошейник с поводком, по-видимому, тронуло маму, и в конце недели сокращенного хлопанья дверью, в субботу утром, отец куда-то поехал, отказавшись объяснять куда, и тут я, разумеется, понял.

– Какая порода? – тербил я маму, пока отец не вернулся. Но она утверждала, что не знает.

– Этим занимается твой отец, – сказала она, и мне показалось, я подметил на ее лице признаки сомнения.

Когда он вернулся, я понял, что тревожило мать. Он посадил собаку на заднее сиденье, и когда он подъехал и затормозил у стены дома, я увидел собаку сквозь кухонное окно, она уткнулась подбородком в спинку заднего сиденья. Думаю, она тоже меня увидела, но никак не отреагировала. Она вроде бы и не заметила, как машина остановилась, как мой отец вышел и сдвинул переднее кресло. Ему пришлось сунуться в машину, ухватить собаку за ошейник и вытащить силой.

Когда животное распрямило длинные ревматические ноги и сделало осторожный, шаткий шаг, я понял, что меня перехитрили и предали. Все время, пока мы «говорили о собаках», мне мысленно представлялся щенок. Щенок колли, щенок бигля. Щенок лабрадора, щенок овчарки. Но нигде в нашем договоре это не было прописано черным по белому, вот что я теперь понял. Если не щенок, то, по крайней мере, молодой пес. Озорник, полный сил и надежд, пес, которого можно учить всяким штукам. А этот пес едва мог идти. Он стоял, повесив голову, словно стыдился чего-то, сделанного давным-давно, в щенячестве, и мне показалось, когда отец захлопнул за ним дверь, что по спине пса пробежала дрожь.

Это животное, наверное, было когда-то красивым псом. Чистокровный рыжий ирландский сеттер, тщательно ухоженный, прекрасно воспитанный, такую собаку можно спокойно привести в дом, принадлежащий университету, такой пес не нарушит правила о содержании животных в доме, такого пса, я сразу же ясно понял, заводят, когда на самом деле не хотят иметь собаку и не хотят слышать про собак. Принадлежал этот сеттер, как я потом узнал, профессору на пенсии, который на той неделе отправился в дом престарелых, оставив своего любимца сиротой. Сеттер был похож на изображение собаки или на собаку, позирующую для портрета, – выдрессированную так, что и не шелохнется.

Отец вместе с собакой вошли в кухню, оба вроде бы нехотя, отец с большой тщательностью закрыл за собой уличную дверь. Мне бы хотелось думать, что на пути домой его тоже посетило сомнение, однако я видел, что он намерен блефовать до конца. Мама, сразу же постигшая мое отчаяние, перевела пристальный взгляд с меня на отца.

– Что? – спросил он.

Мама только головой покачала.

Отец посмотрел на меня, потом снова на нее. Сильная дрожь пробежала по лапам пса. Он вроде хотел прилечь на прохладный линолеум, но забыл, как это делается. Пес тяжело вздохнул, выразив тем самым общие наши чувства.

– Хороший пес, – сказал отец слишком напористо, обращаясь к моей матери. – Немного напряжен, но чистопородные сеттеры все такие. Они очень нервные.

В таких вопросах отец не разбирался. Очевидно, он повторял объяснение, полученное в тот момент, когда он забирает собаку.

– Как его зовут? – спросила мама, видимо, чтобы хоть что-то сказать.

Отец забыл спросить. Он проверил, не написано ли имя на ошейнике.

– Господи, – пробормотала мать. – Господи, господа.

– Мы же можем сами его назвать. – Отец понемногу начинал раздражаться. – Полагаю, с этим-то мы справимся, а ты как считаешь?

– Можешь назвать его в честь устаревшей школы литературной критики, – подбросила идею мама.

– Это она, – сказал я, потому что так оно и было.

Отца, кажется, несколько ободрило, что я вступил наконец в общий разговор.

– Что скажешь, Генри? – обратился он напрямую ко мне. – Как мы его назовем?

Повторное употребление неверного местоимения доконало меня.

– Пойду во двор поиграть! – заявил я и ринулся к двери, прежде чем кто-либо успел мне возразить.

Дверь захлопнулась за мной со всей силы, эхо выстрела разнеслось громче прежнего. Одним прыжком слетев с крыльца, я услышал глухой удар в кухне, словно тусклое, дальнейшее эхо произведенного мной шума, и услышал голос отца: «Что за черт?» Я поднялся обратно по ступенькам – на этот раз тихо, – собираясь извиниться за дверь. Сквозь сетку двери я увидел, что мама и папа стоят рядом посреди кухни и смотрят на собаку, которая как будто уснула. Отец потыкал ее в бедро носком кожаного цветного мокасына.

Он выкопал могилу на заднем дворе, одолжив заступ у соседа. Руки у отца были нежные, они быстро покрылись волдырями. Я предложил помочь, но он лишь зыркнул на меня. Стоя по бедра в вырытой им яме, он снова покачал головой, все еще отказываясь верить.

– Умер! – сказал он. – Не успели мы ему даже имя дать.

Я догадывался, что вновь уточнять местоимение не следует, а потому молча стоял там и размышлял над его словами, а отец тем временем вылез из ямы и пошел к заднему крыльцу за мертвой собакой, накрытой старой простыней. Судя по тому, как аккуратно отец подоткнул простыню, ему очень не хотелось дотрагиваться до чего-то мертвого, даже до только что умершего. Он опустил собаку в яму на простыне, однако под конец все же пришлось ее бросить. Когда труп пролетел последний фут, ударился оземь и замер, отец глянул на меня и снова покачал головой. Потом взял заступ и оперся на него, прежде чем начал засыпать яму землей. Он как будто ждал от меня каких-то слов, и я сказал:

– Рыжуха.

Отец сощурился, точно я заговорил на неведомом наречии.

– Что? – переспросил он.

– Назовем ее Рыжуха, – пояснил я.

За годы после того, как он оставил нас, мой отец сделался еще более знаменитым. Иногда его аттестовали – если «аттестация» тут уместное слово – Отцом Американской Литературной Теории. Помимо множества ученых книг, он также написал литературные мемуары, вошедшие в шорт-лист крупной премии и знакомящие нас с личностями нескольких известных авторов двадцатого века, ныне покойных. Его фотография часто украшает страницы литературных обзоров. Он прошел через фазу, когда носил под твидовый пиджак свитера с высоким воротом

и золотые цепочки, и теперь снимается в застегнутой доверху рубашке, при галстукке и пиджаке, на фоне застроенного книжными стеллажами университетского кабинета. Но для меня, его сына, Уильям Генри Деверо Старший наиболее реален в тот момент, когда стоит в загубленных мокалинах из цветной кожи, опираясь на ручку позаимствованного заступа, смотрит на свои грязные, покрытые волдырями ладони и слушает мое предложение, как назвать издохшего пса. Подозреваю, рытье могилы для нашей собаки стало одним из немногих опытов его жизни (за исключением плотских утех), которые он не черпал с книжной страницы. И когда я предложил назвать мертвую собаку Рыжухой, он посмотрел на меня так, словно я сам только что сошел со страницы тома, который он начал читать годы тому назад и отложил, когда что-то его отвлекло.

– Что? – спросил отец и выпустил из рук заступ, кончик рукояти грянулся оземь между моих стоп. – Что?

Это нелегкий миг для каждого родителя – миг, когда вы осознаете, что породили кого-то, кто никогда не будет смотреть на мир вашими глазами, хотя это ваше живое наследие, хотя вы передали ему свое имя.

Часть первая

Бритва Оккама

*Я думал, это будет
Гром, молния,
Долгая битва с людьми,
Отвесный подъем.*

Стивен Спендер

Глава 1

Когда струя крови из носа наконец утихла и я избавился от промокших бумажных полотенец, Тедди Барнс настоял на том, что доставит меня домой в своей дряхлой «хонде сивик», эта машина отказывается сдохнуть, а скряга Тедди отказывается ее менять. Джун, его жена (она-то себе цену знает), разъезжает в новеньком «саабе».

– Сиденье можно отодвинуть, – посоветовал Тедди, когда заметил, что колени практически упрутся мне в подбородок.

Мы остановились на перекрестке, пропуская поток, и я пошарил сбоку от сиденья, нащупывая кнопку.

– В самом деле?

– Теоретически да, – ответил он академически и беспомощно.

Теоретически я и сам знал, что отодвигается, но оставил попытки осуществить это на практике, теша себя иллюзией страдания. Не скажу, что мне свойственно манипулировать людьми, пробуждая в них чувство вины, но я могу играть эту роль. Я испустил драматический вздох, подразумевающий, что все это чушь, мои длинные ноги удобно размещались под рулем моего «линкольна», такого же древнего, как «хонда» Тедди, но выполненного в масштабах куда более подходящих для длинноногих Уильямов Генри Деверо, двое из которых, мой отец и я, обитают ныне в этом мире.

Тедди до безумия осторожный водитель, ни за что не перестроится в потоке, чтобы свернуть влево.

– Расстояние между машинами неподходящее, ничего не могу поделать, – пояснил он, заметив мою ухмылку.

Тедди, как и мне, сорок девять лет, и хотя лицо у него моложавое, признаки среднего возраста уже вполне очевидны. Грудь, и прежде не отличавшаяся мощью, сделалась впалой, из-за чего заметнее небольшое брюшко. Руки нежные, почти женские, безволосые. Тощие ноги как будто утопают в штанинах. Когда я так пристально к нему присматриваюсь, меня неизменно посещает мысль, что Тедди было бы нелегко начать все сначала, то есть освоить незнакомые приборы, вступить в состязание, найти себе пару. Это для молодых людей.

– Зачем начинать все сначала? – спросил Тедди. От испуга морщины в уголках его глаз углубились.

Судя по тому, как Тедди уставился на меня, я высказал свои мысли вслух, хотя сам того не заметил.

– Тебе никогда не хотелось иметь такую возможность?

– Какую возможность? – переспросил он и отвлекся. Заметив брешь в потоке транспорта, он снял ногу с тормоза и подался вперед, его стопа зависла над педалью газа, не нажимая на нее, но Тедди вновь решил, что зазор этот не столь велик, как ему показалось, и откинулся на спинку сиденья, устало вздохнув.

Что-то в его позе навело меня на мысль, нет ли доли истины в том слухе, который донесся до меня – о жене Тедди, Джун, – будто у нее роман с одним из младших сотрудников нашей кафедры. До сих пор я не придавал веры этому слуху, потому что Тедди и Джун – идеальная симбиотическая пара. На кафедре английского языка и литературы их прозвали Джинджер и Фред за ту легкость, с какой они двигались в совместном танце (ни намек на страсть) к единой общей цели. В атмосфере недоверия, подозрительности и мести сыгранная пара – это мощная сила, и никто не понимал эту печальную университетскую максиму лучше, чем Тедди и Джун. Трудно себе представить, чтобы один из них подверг риску это преимущество. С другой стороны, непросто и состоять в браке с человеком вроде Тедди, который то и дело подается вперед, радостно предвкушая, нога над педалью газа, но слишком опаслив, чтобы наконец втопить.

Мы на Черч-стрит, улица тянется параллельно железнодорожному депо, которое делит Рэйлтон на две закоптелые и одинаково непривлекательные половины. Здесь самая широкая часть депо, два десятка железнодорожных путей, почти на каждом стоит ржавый вагон – или два ржавых вагона. Сто лет назад депо было заполнено и Рэйлтон процветал, жители его верили в обеспеченное будущее. Всё это давно миновало. На Черч-стрит, Церковной улице, где мы застряли в ожидании левого поворота, нет больше ни одной церкви, хотя когда-то, я слышал, было с полдюжины. Последнюю, кирпичную развалюху, давно заброшенную, с заколоченными окнами, снесли в прошлом году после того, как туда забрели какие-то ребяташки и провалились сквозь пол. Большой участок земли, где находилась церковь, теперь пустует. Многочисленные замусоренные пустыри Рэйлтона, как и продуваемые ветром прогалины между вагонами в депо, каким-то образом подрывают в людях надежду. Отсюда, где мы ждем возможности свернуть на Приятную улицу, видно то место, которое некий Уильям Черри, всю жизнь прослуживший на железной дороге, выбрал, чтобы покончить счеты с жизнью, улегшись среди ночи на рельсы. Сначала думали, он один из тех, кого уволили неделей раньше, но выяснилось, что дело обстоит с точностью до наоборот: он только что вышел на полную пенсию, получив все положенные выплаты. Отвечая на вопросы телекорреспондентов, его менее благополучные соседи выражали недоумение: у него же все было схвачено, говорили они.

Когда весь поток проехал и стало безопасно, Тедди свернул на Приятную улицу, самую неприятную из улиц Рэйлтона. По обе стороны она окаймлена замызганными одно- и двухэтажными складами и так круто карабкается вверх, что в снежную пору ей лучше не пользоваться. Даже сейчас, в середине апреля, подъем, я подозреваю, может быть труден для «хонды» – Тедди героически переключился на нижнюю скорость и продвигался вперед со скоростью аж пятнадцать миль в час. На полпути ровная площадка и светофор. Я предложил:

– Может, мне выйти и подтолкнуть?

– Ничего, это просто холод, – ответил Тедди. – Мы справимся.

Он, конечно, прав. Мы взберемся на гору. Почему этот факт лишает меня бодрости, вот что я хотел бы знать. Не могу удержаться от мысли, что Уильям Черри тоже боялся, что в итоге все пойдет как надо, если он не совершит какой-то отчаянный поступок, чтобы этому помешать.

– Я смогу я смогу я смогу², – продекламировал я, когда светофор переключился и Тедди послал вперед Маленькую Хонду Которая Сможет.

Пару месяцев назад я по глупости вздумал заехать на тот же взгорок при легком снегопаде. Шло к полуночи, я возвращался домой из университета и не захотел воспользоваться более длинным – лишние десять минут – путем. В долгие пенсильванские зимы запрещается оставлять на ночь машины на обочине, так что улица выглядела пустынно и зловеще. Только моя машина и ползла по растянувшемуся на пять кварталов склону, и я благополучно добрался до той самой площадки, где сейчас остановился Тедди. На углу располагается офис моего страхового агента, и я помню, как мне захотелось, чтобы он оказался там и стал свидетелем моего безответственного обращения с застрахованным автомобилем. Когда светофор переключился, колеса моей машины заскользили, потом шины сцепились с асфальтом, я протатился вверх последние два квартала, и оставалось уже не более десяти метров до вершины, когда я почувствовал, как колеса прокручиваются вхолостую и зад машины повело. Осознав, что на тормоз давить нет смысла, я откинулся на сиденье и спокойно созерцал последствия собственной опрометчивости. Мотор заглох, все прочие звуки поглощал снег, и, словно в немом балете, я изящно съезжал с горы задом до все той же площадки и думал, что там и остановлюсь, точно перед страховой конторой, но автомобиль перевалил через край площадки и проскользнул

² Цитата из детской книжки «Паровозик, который смог»; простенькую историю о паровозике, который карабкается в гору, повторяя «я смогу, я смогу, я смогу», восприняли как метафору американской мечты.

нижние три квартала, подскакивая на ухабах, как бильярдный шар, и, наконец, замер перед воротами депо, в значительной степени утратив равновесие, но более никак не пострадав. Моя приятельница Боди Пай живет в квартире на третьем этаже поблизости от подножия взгорка, и она утверждает, что наблюдала мой балетополет и я, дескать, заливался при этом безумным смехом, – сам я ничего подобного не помню. Единственное осознаваемое мной в тот момент чувство было схоже с тем, которое я ощущал сейчас, поднимаясь с Тедди на ту же самую гору, – своего рода разочарование из-за того, что драматическая ситуация так просто разрешилась. Тедди уверен, что мы сможем, уверен и я. У обоих – бессрочный контракт.

Вырвавшись из города и омоложившись, «хонда» понеслась по двухполосному шоссе, как мультяшный автомобиль с большой глуповатой улыбкой (Я Смогла Я Смогла), сельская Пенсильвания пролетала мимо окна. На деревьях вдоль обочин уже набухли почки. Дальше от дороги, в глубине леса, еще сохранились пятна грязного снега, но повсюду пахло весной, и Тедди приоткрыл окно, чтобы насладиться свежестью. Бриз колыхал его редкие волосы, и мне почти мерещилась свежая поросль на его скальпе. Знаю, он хотел опробовать «Рогейн»³.

– Ты везешь меня домой только затем, чтобы пофлиртовать с Лили, – подколот я.

Тедди залился краской. Вот уже более двадцати лет он невинно влюблен в мою жену. Если существует такая вещь, как невинная влюбленность. Если существует такая вещь, как невинность. С тех пор как мы построили дом за городом, Тедди уже не так часто выпадает возможность повидать Лили, и он всегда высматривает подходящий предлог. В те редкие субботы, когда мы все еще играем по утрам в баскетбол, он заезжает за мной. Площадка для игры находится в нескольких кварталах от его дома, но он уверяет, что четырехмильная поездка в Аллегени-Уэлс – не крюк. Однажды ночью, десять с лишним лет назад, он по пьяни признался мне, что околдован Лили. Едва тайна вырвалась из его уст, как Тедди потребовал с меня обещания не выдавать его.

– Если ты расскажешь ей, богом клянусь... – бормотал он.

– Глупости, – сказал я. – Разумеется, я все расскажу ей, как только вернусь домой.

– А как же наша дружба?

– Чья?

– Наша. Твоя и моя.

– Какая дружба? – переспросил я. – Это ведь не я влюбился в твою жену. Перестань рассуждать о дружбе. Мне бы следовало тебе врезать.

Он пьяно ухмыльнулся:

– Ты пацифист, не забыл?

– Это не значит, что я не могу тебе угрожать, – ответил я. – Это всего лишь значит, что ты не обязан принимать мои угрозы всерьез.

Но он принимал их всерьез, он все принимал всерьез, я уж видел.

– Ты недостаточно ее любишь, – сказал он со слезами на глазах. Самыми настоящими.

– Почему ты знаешь? – парировал Уильям Генри Деверо Младший с сухими глазами.

– Недостаточно! – повторил он.

– Тебе станет лучше, если я пообещаю накинуться на нее, как только вернусь домой?

Послушайте, ну абсурдная же ситуация. Двое мужчин средних лет – мы достигли средних лет уже тогда – сидят в баре в Рэйлтоне, штат Пенсильвания, спорят о том, сколько любви достаточно, сколько еще положено. Однако Тедди не замечал этой абсурдности, и на миг мне в самом деле показалось, что он готов меня ударить. Ему бы следовало понимать, что я его дразню, но Тедди принадлежит к подавляющему большинству людей – к тем, кто верит, что с любовью шутить нельзя. Не понимаю, как человек может не шутить на эту тему и считать, что у него есть чувство юмора.

³ Популярная в Америке марка стимулятора роста волос.

С того вечера о признании Тедди упоминал только я. От своего признания он не отрекся, но тот инцидент продолжал его тревожить.

– Было бы неплохо, если бы и ты питал какие-то чувства к Джун, – сказал он сейчас, улыбаясь печально. – Согласен на взаимную симпатию на расстоянии.

– Сколько тебе лет? – поинтересовался я.

Он затих на минуту.

– Ну хорошо, – сказал он наконец, – на самом деле я вызвался отвезти тебя, потому что...

– Господи боже, – простонал я. – Вот оно.

Я знал, что меня ждет. В последние месяцы распространился слух о нависшей над университетом чистке, и, дескать, на этот раз дело дойдет и до сотрудников с постоянным контрактом. Случись такое, под ударом окажутся практически все члены английской кафедры. Это известие якобы сообщается каждому заведующему кафедрой индивидуально на отчетной встрече в конце года с университетским руководством. В зависимости от версии, главу кафедры либо просят, либо принуждают составить список сотрудников, без которых можно обойтись. Стаж, опять-таки по слухам, не принимается во внимание.

– Ладно, – сказал я. – Выкладывай, с кем ты говорил на этот раз?

– С Арни Дренкером с психфака.

– И ты веришь Арни Дренкеру? – спросил я. – Он же псих со справкой.

– Он клянется, что ему приказали составить список.

Не получив немедленного ответа, Тедди оторвал взгляд от дороги и оглянулся на меня. Моя правая ноздря, теперь раздувшаяся так, что я отчетливо видел ее краем глаза, от такого пристального внимания задергалась.

– Почему ты не желаешь отнестись к этой ситуации более серьезно?

– Потому что сейчас апрель, Тедди, – разъяснил я.

Старый, нескончаемый разговор. С наступлением апреля паранойя университетских обостряется – это при том, что своей «обычной» паранойей они вполне способны загубить самый прекрасный день любого времени года. Но апрель ужаснее всего. Какую бы гадость нам ни готовили, ее всегда планируют в апреле, затем осуществляют летом, когда мы разъедемся. В сентябре уже поздно спорить из-за сниженных премий, урезанного командировочного фонда и удвоенной цены абонеента на парковку возле корпуса современных языков. Слухи о жестком сокращении бюджета, которое скажется на сотрудниках, распространяются в апреле вот уже пятый год подряд, но на этот раз они особенно упорны и заразительны. Но факт остается фактом: каждый год власти грозятся решительно урезать расходы на высшее образование. Каждый год высокопоставленная команда защитников образования отправляется на Капитолий лоббировать увеличение расходов. Каждый год с обеих сторон звучат обвинения, гремят передовицы газет. Каждый год сокращение бюджета начинает осуществляться в соответствии с прозвучавшими угрозами, но в последний момент финансового года обнаруживаются средства и бюджет (почти) восстанавливается. Каждый год я прихожу к выводу, к которому пришел бы и Уильям Оккам (первый, великий и современный Уильям, главный Уильям своей эпохи и нашей, единственный Уильям, какой нам нужен, тот, кто наделил нас замечательной бритвой для отделения простой истины, претерпел изгнание и отдал жизнь, чтобы наши академические грехи были прощены): никакой чистки среди сотрудников в этом году не будет, как не было ее в прошлом году и не будет в следующем. Если что и будет в следующем году, то, скорее всего, очередное затягивание поясов – еще больше сотрудников останутся без творческого отпуска, продолжится мораторий на заключение новых контрактов, меньше денег дадут на ксерокопирование. А что уж точно будет в следующем году, так это очередной апрель и очередной цикл слухов.

Тедди снова бросил на меня быстрый взгляд исподтишка.

– Ты хоть имеешь представление, о чем говорят твои коллеги?

– Нет, – ответил я и тут же уточнил: – То есть да, я знаю своих коллег, так что могу себе представить, о чем они говорят.

– Они говорят – то, как ты отмахиваешься от слухов, подозрительно. Гадают, не составил ли ты уже список.

Я преувеличенно вздохнул.

– Если бы я его составлял, длинный бы вышел список. Стоит взяться за сухостой на нашей кафедре, и двадцатью процентами дело не ограничится.

– Вот из-за таких твоих разговоров люди и нервничают. Неподходящее время для шуток. Если бы ты доверился мне, рассказал, что тебе известно, я бы успокоил наших друзей.

– А если мне ничего не известно?

– Будь по-твоему, – ответил Тедди с таким видом, словно теперь-то я точно его обидел. – Я тебе тоже не все рассказывал, когда возглавлял кафедру.

– Рассказывал, – уязвил я его. – Я это хорошо помню, потому что вовсе не хотел этого знать.

Заметив, как он обижен, я слегка сдал назад.

– Мне предстоит встреча с Дикки на этой неделе, – сообщил я, пытаюсь сообразить, на завтра назначена она или на пятницу.

Тедди не отреагировал. Он словно и не слышал. Вот она, паранойя. Он уставился в зеркало заднего вида так, будто нас преследуют. Обернувшись, я понял, что нас и в самом деле преследует, висит у нас на хвосте красный спортивный автомобиль, резко перестраивается, с ревом обгоняет, потом рывком тормозит, вынуждая и Тедди жать на тормоз. Это красный «камаро» Пола Рурка, понял я. «Камаро» остановился на обочине, остановился и Тедди, багровый от бессильной ярости. За рулем сидела жена Рурка, вторая миссис Р. (никак не могу запомнить ее имя), но она явно действовала по указаниям мужа. Хотя обычно глаза у нее мечтательные, а речь краткая, за рулем в ней вдруг пробуждается агрессивность. По словам Пола, который состоит во втором браке достаточно долго, чтобы и в нем разочароваться, только в это время она полностью просыпается. Она всегда с ревом проносится мимо меня по этой дороге на Аллегени-Уэллс, всегда одаряет меня долгим взглядом, прежде чем отвернуться разочарованно. Скучающее выражение не сходит с ее лица даже при виде знакомого.

– Если выйдет драка, она моя, – шепнул я Тедди, который все еще цеплялся за руль.

– Что за... нет, ты видел... – заикаясь, выдавил он. Уставился на меня, ожидая подтверждения. Гнев – одна из тех эмоций, на которые Тедди вроде как не имеет права, и он хочет убедиться, что в данном случае все основания для гнева у него есть.

Рурк медленно вылез из машины, наклонился, сунул голову в окошко и что-то сказал второй миссис Р. Наверное, велел сидеть на месте. Это, мол, не займет много времени. Действительно, драка много времени не займет: Пол Рурк мужик здоровенный, а меня замутило от одной мысли получить кулаком по и без того изувеченному носу.

Неловко, в несколько приемов, я вылез из «хонды». Рурк терпеливо ждал, даже дверцу придержал для меня. Выпрямившись, я превосхожу его ростом, и это приятно, хоть никакого реального преимущества и не дает. Этот человек несколько лет назад во время рождественской вечеринки на кафедре швырнул меня об стену, и что меня тревожило сейчас, так это отсутствие стены. Если он толкнет меня со всей силы, я окажусь в канаве. К счастью, он вроде бы удовлетворился созерцанием моего загубленного носа. Даже ухмыльнулся.

Тедди выбрался из машины и снова принялся заикаться.

– Чуть не столкнулись, могла произойти авария, – пробубнил он, но Рурк не удостоил его и взглядом.

– Привет, преподобный, – сказал я дружелюбно. В молодости, до обращения в атеизм, Пол Рурк учился в духовной семинарии.

– Больно? – поинтересовался он, изучая мой хобот.

– Еще как, Пол, – поспешил я ему угодить.

Он вдумчиво кивнул:

– Хорошо. Очень рад.

Он поднял руку, и я отступил, пытаясь сдержать дрожь. В руке Пола прятался фотоаппарат – дорогушая зеркалка. Пол успел нащелкать кадров восемь, прежде чем я повернулся к нему уцелевшим профилем.

– Таким хочу запомнить тебя, когда тебя здесь не будет, – уведомил Пол. И добавил едва заметным кивком в сторону Тедди: – А его просто забуду.

После этого Пол вернулся в свой «камаро», который дернулся и выскочил на шоссе, рассыпая мелкий щебень с обочины.

– Ну всё, – сказал Тедди, уверившись наконец теперь, когда это безопасно, что гнев и в самом деле уместен в данной ситуации. – Я подаю жалобу.

Я смеялся весь остаток пути, и тогда, когда мы свернули на подъездную дорожку к дому, где живем мы с Лили, приходилось утирать глаза рукавом пиджака. Тедди был смущен и даже почти рассержен тем, что я обесцениваю его чувства своим весельем.

– Точно подаю, – сказал он решительно, и я согнулся от хохота.

Лили вышла на заднюю веранду, заслышав приближение чужой машины. Одета она была в спортивный костюм и раскраснелась, словно только что с пробежки. Она помахала нам, и Тедди заторопился выбраться из машины, чтобы помахать в ответ. Мы припарковались слишком далеко, и мой ободранный нос она видеть не могла, однако, судя по той позе, которую заняла моя жена, – руки уперты в изящные бедра, – она готова была к встрече с очередным безумием.

– Все не так страшно, как выглядит, – прокричал Тедди.

Мы приблизились, и Лили осмотрела нас недоверчиво, желая выяснить, к чему относилось предупреждение Тедди. За двадцать лет мне случалось не раз возвращаться домой с незначительными травмами, но, как правило, не на лице – растянутые связки, раздувшееся колено, боль в пояснице, такие дела. Субботний баскетбол на кафедре, в ту пору, когда мы все еще не перестали друг с другом разговаривать, нередко приводил к травмам. Чаще всего отоваривал меня Пол Рурк, он, похоже, вел в игре иной счет, не очков.

Так что Лили высматривала хромоту. Или скованность осанки. Сутулость. Нос она разглядеть не могла, потому что я умышленно склонил голову набок и продвигался вперед так, чтобы на виду оставалась только здоровая ноздря. Непростая задача, учитывая габариты ноздри пострадавшей. Когда мы дошли до края веранды, Тедди сообразил, что я делаю, схватил меня за подбородок и повернул мое лицо так, чтобы Лили могла оценить увечья во всей красе. Интересно, был ли Тедди разочарован ее реакцией, как разочарован я сам, – бровь слегка приподнялась, будто намекая, что и такая диковинная травма вполне предсказуема, учитывая мою репутацию.

– Совсем с цепи сорвался, – восхищенно сообщил Тедди.

Мы вошли в дом, потому что в середине апреля нежарко и после захода солнца холодает. Я слышал, как Оккам скулит, прося выпустить его из комнаты для стирки, – там Лили запирает его за плохое поведение. Я открыл дверь, и пес, вне себя от радости, проскочил мимо, обежал на бешеной скорости кухонный остров, когти противно скрежетнули на плитке, и тут он заметил Тедди, а Тедди, увидев его, побледнел.

Оккам – крупная псина, почти взрослая белая немецкая овчарка. Он появился у нас на подъездной дорожке примерно год назад. Лили услышала лай, мы вышли на веранду, и перед нами предстало странное зрелище. Пес замер посреди подъездной дорожки, будто получил команду оставаться там, но сомневался, так ли это разумно. Он словно ждал нашего совета.

– Мне кажется, он зовет нас за собой, – сказала Лили. – Как ты думаешь, откуда он пришел?

– Если он зовет нас за собой, то явился прямиком из телепередачи, – пробурчал я, но он и правда выглядел так: приплясывал на одном месте и лаял на нас, но не приближался. Вернее, он двинулся было в нашу сторону, потом, словно припомнив что-то ужасное, взвыл (совсем в другом регистре, гораздо пронзительнее лая), отступил на несколько шагов, и вся церемония пошла заново.

Мы осторожно подошли к нему, остановились в нескольких шагах от зверюги, которая принялась неистово махать хвостом и улыбаться. Ухмылка была кривая, залихватская.

– Никогда не видела у собаки такой улыбки, – заметила Лили. – В точности Гилберт Роланд.

Что-то блеснуло у собаки в пасти. Можно подумать, пес обзавелся золотым зубом.

– Господи, Хэнк! – воскликнула Лили. – Да он же попался на крючок.

Именно так и обстояло дело. То, что показалось мне золотым зубом, было тройным крючком, впившимся собаке в губу. Пес тащил за собой длинную прозрачную леску, она становилась заметна, лишь когда пес пытался ее натянуть, – тут-то и возникала ухмылка а-ля Гилберт Роланд. Лили крепко обняла пса, а я перерезал леску. Он притащил чуть ли не сто метров лески, наверное, от самого озера, которое от нас в двух милях. Дома, успокоенный ласковыми руками и голосом Лили, он терпеливо ждал, пока я найду кусачки, и даже не дернулся, когда я перекусил ими стержень и извлек крючок.

«Окей, – словно сказал он, избавившись от крючка. – Дальше что?»

Мы дали объявление в газету, расклеили собачье фото повсюду в окрестностях, но владец так и не объявился. Нам оставалось лишь кормить животное и наблюдать, как оно растет вширь и ввысь. С тех пор как мы им обзавелись, гостей у нас бывало немного, и Оккам недоумевал по этому поводу, ведь он-то гостям радовался от души. Так раздухарялся при виде гостя, что его не мог остановить даже строгий голос Лили, обычно повергавший пса в трепет. Тедди, не выдавший Оккама с той стадии, когда псоподросток облизывал гостю лицо, упреждающе вскинул руки. Оккам, переставший интересоваться лицами, исполнил свой любимый номер, он применял его теперь ко всем гостям, независимо от их пола. Как только руки Тедди взметнулись вверх, Оккам воткнул свою длинную заостренную морду ему между ног и попытался приподнять, воображая, что насадил гостя на свой мокрый нос. Тедди привстал на цыпочки, лишь усилив эту иллюзию.

– Оккам! – рявкнула Лили, и ее голос пробил даже броню собачьего восторга.

Пес позволил Тедди опуститься и оглянулся как раз вовремя, чтобы схлопотать скатанной газетой по носу. Жалобно взвизгнув от такой перемены участи, он побрел прочь на полусогнутых лапах, драматически волоча поджатый зад и поскуливая на каждом шагу. Мой собственный нос сочувственно задержался.

– Хороший пес! – сказал я Оккаму, просто чтобы окончательно сбить его с толку. Хвост отклеился от задних лап и заметался туда-сюда, подметая пол.

Лили усадила Тедди на один из стульев, стоящих вокруг кухонного острова, а я тем временем вывел Оккама на веранду, и он застучал когтями вниз по ступенькам. Ему нужно пронести на всех парах вокруг дома – несколько раз, – чтобы стряхнуть с себя унижение. Я хорошо понимаю своего пса. У нас много общих, глубоко затаенных чувств.

Я вернулся в кухню. Тедди был уже не такой бледный.

– Лили научила его этому фокусу, – сообщил я и добавил: – Я уж думал, он никогда его не освоит.

– Хорошо, что у тебя физиономия уже расквашена, – сказала Лили таким тоном, словно и вправду так думала. Она была смущена и растеряна – Лили от природы склонна врачевать

чужие раны и сейчас пыталась сообразить, как ухаживать Тедди, которого собака ткнула мордой в пах.

– Должен сообщить тебе, что это дело рук красивой женщины, – сказал я.

Тедди поспешил рассеять ее недоумение.

– Грэйси, – пояснил он.

– Грэйси уже не назовешь красивой, – возразила жена. – С тех пор как она растолстела, я куда краше ее.

Она отошла к плите и вернулась с горячим кофейником.

Тедди подумывал, не возразить ли, – мол, Лили всегда была краше. Я догадался об этом по его жалкому, потерянному взгляду. Он даже рот приоткрыл, но быстро захлопнул. А Лили и в самом деле замечательно выглядит, вдруг дошло до меня. Стройная, спортивная, сияющая, она каждый день пробегает пару миль, и если ее мышцы ноют после этого так же, как мои, она держит эту боль в тайне, возможно считая, что жаловаться на боль, вызванную атлетическими подвигами, – сугубо мужское поведение. Она и в целом не слишком одобряет мужское поведение.

– Чем это она тебя? – спросила Лили, наконец присмотревшись как следует к моему шинобелю. – Вилкой для креветок?

Услышав от Тедди, что это была зазубренная пружина блокнота, Лили вздрогнула – доказательство, хотелось бы мне думать, сохранившихся нежных чувств ко мне. Тедди пустился в увлеченный, но бедный фантазией рассказ о собрании комиссии по кадрам, которое увенчалось моим ранением. Целиком сосредоточился на том, как я изводил Грэйси. Упустил детали, которые даже такой давно не практиковавшийся рассказчик, как я, не только упомянул бы, но и поместил бы на передний план. Так человек без слуха пытается петь, не попадая в ноты, не в такт постукивая ногой и надеясь, что бурным исполнением возместит отсутствие мелодии. По ушам бьет. Мысленно я редактировал отчет Тедди, менял местами и реструктурировал элементы, делал примечания на полях, что-то пропалывал и соединял, переставлял акценты, выстраивал иерархию. Я даже подумывал, не написать ли собственную версию для «Зеркала Рэйлтона» («Зеркала заднего вида», как ласково именуют газету местные). В прошлом году я опубликовал серию сатирических заметок под общим названием «Душа университета», под псевдонимом Счастливчик Хэнк, – пресерьезные описания нашего ученого безумия. Повесть о сегодняшнем собрании комиссии по кадрам могла бы возродить эту серию.

Стоит ли ее возрождать – другой вопрос. Эти заметки навлекли на меня гнев коллег и университетского начальства, и те и другие упрекали меня в недостатке возвышенной серьезности – я-де подрываю в массах и без того ослабевшее уважение к высшему образованию и кусаю кормящую руку. Хорошо написанный отчет о событиях, завершившихся моим увечьем, не потребовал бы гипербола, чтобы достичь абсурдистского эффекта, об этом можно судить даже по приземленному повествованию Тедди, хоть ему и не хватало чего-то существенного. Как я объясняю моим студентам, хорошая история всегда начинается с персонажей, а изложение событий в версии Тедди совершенно не передавало ощущения Уильяма Генри Деверо Младшего во время описываемых событий.

Прежде всего, надо сказать, что Уильям Генри Деверо Младший задыхался. Финеас (Финни) Кумб, глава кадровой комиссии, выбрал маленькую аудиторию для семинаров, без окон, ведь нас было всего шестеро. Вот только двое из шестерых, сам Финни и Грэйси Дюбуа, чересчур надушились, и Уильям Генри Деверо Младший трижды поднимался, чтобы открыть дверь, которая всякий раз оказывалась уже открытой. Тедди, его жена Джун и Кэмпбелл Уимер (единственный на нашей седеющей кафедре преподаватель с временным контрактом) вроде бы прекрасно справлялись с рвотными позывами, а вот Уильям Генри Деверо Младший не справлялся.

– С вами все в порядке? – Уимер нарушил протокол, чтобы задать мне этот вопрос.

Всего четыре года, как выпустился из Брауна, редеющие волосы он стягивал резинкой в хвост. Получив работу, он на первом же кафедральном собрании ошеломил коллег заявлением, что литературой как таковой не интересуется, его исследования связаны преимущественно с феминистской критической теорией и образно-ориентированной культурой. Уимер записывал телесериалы и включал их в список обязательных источников вместо фаллоцентрических, символоориентированных текстов (книг). Его студентам запрещалось подавать письменные работы, они снимали проекты на видеокамеру и сдавали их в конце семестра на касетах. На заседаниях кафедры всякий раз, когда произносилось местоимение мужского рода, Кэмпбелл поправлял оратора, добавляя: «или она». Даже жена Тедди, Джун, возлюбившая феминизм лет десять назад, примерно тогда же, когда разлюбила Тедди, утомилась от такой аффектации. В последнее время все члены кафедры стали называть Уимера «Илиона».

– Все в порядке, – заверил я его.

– Вы издаете странные звуки, – пояснил Илиона.

– Кто?

– Вы! Ты! – Четыре голоса поддержали нашего юного коллегу. Финни, Тедди, Джун, Грэйси.

– Вы... булькали, – подобрал слово Илиона.

– А, вот что, – сказал я, хотя бульканья за собой не заметил. Скорее уж я тихо рыгал от тяжелого, липкого аромата Грэйси, но никак не булькал. Вся причина в том, что я сижу слишком близко к ней в маленькой душной комнате или она с утра по ошибке дважды оросила себя духами?

При виде Грэйси теперь уж так сразу и не припомнишь, какой эффект она производила двадцать лет назад, когда пришла к нам. Словно танцовщица в черных чулках в сеточку, во фраке и цилиндре, которую передают из потных рук в потные руки над головами сплошь мужской публики. Джейкоб Роуз, в ту пору заведующий кафедрой, а ныне декан, говаривал, что все мужчины университета хотели бы трахнуть Грэйси, за исключением Финни, который хотел бы *стать* Грэйси. То было давно. Вряд ли сегодня мы смогли бы передавать ее друг другу над головами. И мы уже не те, что были раньше, и Грэйси вдвое больше себя тогдашней. Беда в том, что достаточно глянуть на Грэйси (или, в моем случае, нюхнуть ее парфюм), и сразу становится ясно: она-то хочет оставаться такой, какой была. Черт побери, это же понятно. Мы бы и сами хотели оставаться такими, какими были.

– Не могли бы вы перестать тарашиться на меня? – Грэйси возмущенно обернулась ко мне. – Вы фыркаете, прекратите, будьте любезны!

– Кто? – спросил я.

– Ты! Вы! – Четыре голоса. Финни, Тедди, Джун, Илиона.

– Готов ли кто-то сообщить нам о ходе поисков заведующего? – спросил Финни. На нем, как всегда после весенних каникул, белый льняной костюм и розовый галстук, выгодно подчеркивающий свежий карибский загар. Несколько лет назад Финни отрастил пышную седую шевелюру и повесил на стену в своем кабинете большой цветной портрет Марка Твена, чтобы позировать на его фоне.

– Топчемся на месте, – доложил я.

Поиски нового заведующего кафедрой шли примерно так, как ожидалось. В сентябре нам дали отмашку. В октябре напомнили, что ставка пока не выделена. В декабре скрепя сердце разрешили представить короткий список и приступить к собеседованиям. В январе запретили кого-либо приглашать. В феврале напомнили о моратории на прием новых сотрудников и предупредили, что едва ли он будет нарушен ради нас даже для того, чтобы нанять нового главу кафедры. К марту все кандидаты, кроме шестерых, либо нашли себе другое место, либо предпочли оставаться там, где работали до сих пор, чем связываться с людьми, способными так запутать процесс отбора соискателей. В апреле декан попросил сократить список до трех чело-

век и пронумеровать. Сокращать список уже не было необходимости: из двухсот человек, подававших заявки и резюме, как раз трое и оставалось.

– Декан оказывает необходимое давление? – вот что желал выяснить Финни. И выяснить это следует мне, по его мнению, поскольку я дружу с Джейкобом Роузом. Отсутствие у меня конкретной информации служило в глазах Финни очередным доказательством (если в доказательствах была еще нужда), что я умышленно срываю поиски нового заведующего, поскольку с самого начала высказывался на эту тему неодобрительно. Я говорил, что наша кафедра пребывает в таком раздразе, за многие годы мы до такой степени обозлились друг на друга, что звать нового заведующего извне нас побуждает одно-единственное соображение: лишь бы не отдать бразды правления одному из нас. Мы не нового заведующего ищем, а жаждем кровавого жертвоприношения. После того как я высказал свое мнение вслух, Финни заподозрил, что декан и я втайне пытаемся саботировать и поиски нового заведующего, и демократические принципы нашей кафедры.

– Куда точнее будет сказать, что давление оказывают на него, – отчитался я.

– Он слюняй! – бросила Джун, хотя она и Тедди тоже дружат с Джейкобом.

– Или она, – сказал я.

Илиона вскинул голову, озадаченный. Это ведь его реплика. Неужели он упустил возможность ее произнести?

– Что мы здесь делаем? – спросил Тедди отнюдь не философски. – Почему бы не подождать, пока нам выделяют ставку, а потом уж ранжировать кандидатов? У нас на это уйдет несколько часов, и нет гарантий, что вакансия завтра не будет отменена. В таком случае мы зря тратим время.

– Декан попросил нас определить рейтинг оставшихся кандидатов, – сказал Финни, – и, следовательно, мы займемся рейтингом.

Эффективно избавившись от здравого смысла, мы вернулись к бесконечным препирательствам по поводу трех оставшихся кандидатов. Дважды меня попросили перестать булькать. Трижды я опередил Кэмпбелла Уимера с репликой «или она». Похоже, никто уже не помнил, что изначально привлекло нас в этих кандидатах. По правде говоря, сомневаюсь, чтобы нас что-то привлекло: они уцелели после того, как мы выполнили все заявки, представлявшие для кого-то из нас личную угрозу. Пригласив выдающегося ученого, мы бы навлекли на себя нежелательное сравнение с нами, невыдающимися. Разумеется, этот аргумент никогда не произносился вслух, но мы предостерегали друг друга насчет того, как трудно будет удержать столь квалифицированного сотрудника. Проблема усугублялась тем, что мы воспринимали с подозрением любого приличного соискателя, проявившего заинтересованность в нас. Наверное, гадали мы, он (или она!) пока что ведет переговоры со своим нынешним университетом и использует наше приглашение лишь затем, чтобы выбить повышенное жалованье из его (или ее!) декана.

Грэйси рвалась непременно сократить список до двух человек, поскольку о третьем поступила тревожная информация.

– При нынешней нашей ситуации кандидатура профессора Трелкинда не может рассматриваться, – заявила она, сверяясь с пометками о недопустимости Трелкинда в своем огромном блокноте на пружине. На заседании кадровой комиссии Грэйс теребила эту пружину, выдернула отчасти наружу металлическую спираль и ее кривым, смертоносным концом счищала чешуйки лака с малинового ногтя большого пальца.

– Мы и так переукомплектованы специалистами по двадцатому веку, – напомнила она, – и нет никакой надобности во втором поэте.

Этот кандидат включил в резюме несколько поэтических публикаций в малых журнальчиках.

Непригодный Трелкинд всплыл в обсуждении потому, что в ноябре Грэйси болела гриппом и пропустила собрание, на котором могла бы заблокировать дальнейшее рассмотрение его кандидатуры. Сама Грэйси занималась британским двадцатым веком и только в прошлом году подготовила компьютерную верстку второго тома своих стихов. Если бы непригодный Трелкинд был избран, Грэйси пришлось бы делить с ним курсы, которые она давно считала своей законной вотчиной.

– И я также хотела бы напомнить, что этот соискатель – еще один белый мужчина, – завершила она, захлопывая свой блокнот и ставя тем самым точку.

– У нас уже есть поэт? – услышал я вопрос, который Уильям Генри Деверо Младший задал невинным тоном.

Тедди и Джун рассматривали свои ладони, уголки их губ слегка изогнулись в улыбке. У них хватало политических врагов, но Грэйси занимала одну из верхних строк в *этом* списке, поскольку участвовала в коалиции, которая свергла Тедди с должности главы кафедры.

– Это недопустимое замечание, – не слишком убежденно сказал Финни, и его отдающее мятой дыхание соединилось с духами Грэйси в адскую смесь.

– По-моему, следует вычеркнуть обоих кандидатов-мужчин, – сказал Илиона.

– Вы предлагаете не рассматривать кандидатов-мужчин? – удивился Тедди. – Просто по гендерному принципу?

– Вот именно, – ответил Илиона.

– Это было бы незаконно, – сказал Тедди, но интонация под конец пошла вверх, оставляя висеть в воздухе невысказанный вопросительный довесок: «ведь так?»

– Это было бы правильно, – уперся Илиона. – Это было бы морально.

– Мы не придерживались таких ограничений, когда нанимали вас, – напомнил ему Финни.

Финни признал свою ориентацию несколько лет назад, а потом отрекся и был особенно разочарован в юном коллеге. Он громче всех отстаивал кандидатуру Илионы, очевидно заключив на основании некоторых его реплик во время интервью, что Кэмпбелл Уимер – гей, а потом выяснилось, что Илиона всего лишь хотел дать понять, что ничего не имеет против геев, а также против чернокожих людей, и людей родом из Азии, и латиноамериканских, и коренных американских людей. Он бы даже предпочел, с политической и моральной точки зрения, быть одним из них, если бы выбор зависел от него. Не повезло парню.

– Вам следовало нанять женщину, – произнес Илиона. И чуть не расплакался, искренне убежденный, что нельзя было предпочесть его женщине с соответствующей квалификацией. – А когда я подам на постоянный контракт, вы должны голосовать против меня. Если уж тут, на английской кафедре, мы не дадим отпор сексизму, кто же тогда?

На этот раз даже я услышал свое бульканье.

– Я не поддерживаю предложение отвергнуть обоих кандидатов-мужчин, – прояснила свою позицию Грэйси. – Только профессора Трелкинда. Потому что нам не требуется еще один белый мужчина. Потому что нам не требуется еще один преподаватель литературы двадцатого века. Потому что нам не требуется еще один поэт. Это три существенные причины, а не одна.

Пока она произносила эти слова, я краем глаза видел, как Тедди качает головой – вероятно, потому, что он понимает меня и понимает Грэйси, и он знал, что Грэйси опять ставит мяч перед лункой и я сейчас выхвачу клюшку и вдарю.

– Кто наш первый поэт? – спросил я, ни к кому в особенности не обращаясь. – Напомните, будьте добры.

Блокнот со спиралью ударил меня в лицо с такой силой, что из глаз брызнули слезы. Все, включая Финни, который устанавливал на руководимых им собраниях эмоциональное равновесие, сравнимое с болтанкой пробки в полосе приборя, так и вытаращились. В первый момент я не мог понять, почему блокнот, который Грэйси применила в качестве оружия, продолжает

маячить перед моим носом. На один безумный миг мне померещилось даже, что она что-то написала на обложке и требует, чтобы я это прочитал. Скосив глаза, я пытался разглядеть надпись и лишь тогда сообразил, что Грэйси старается вернуть себе свой блокнот и каждый ее рывок отзывается острой болью у меня во всем лице и во лбу, а уж следом до меня дошло, что острый конец спирали воткнулся в мою правую ноздрю, словно рыболовный крючок, что я насажен на него, как лягушка, и тянусь через стол к Грэйси, будто неуклюжий поклонник за поцелуем.

Затем меня обступили со всех сторон – лиц я не различал сквозь слезы.

– О бооооже! – услышал я голос Грэйси, и она выпустила из рук блокнот, словно тем самым могла полностью от меня отделаться, и пусть я забираю себе ее блокнот, если уж так этого хочу.

– Ужас какой, ужас какой! – твердил Илиона, как если бы его заставили присутствовать при таком обращении с белым мужчиной, какое он предпочел бы не видеть (даже по отношению к белому мужчине).

Наконец по моей подсказке Тедди отправили искать зрителя, и к тому времени, как эти двое явились с набором острых кусачек, способных справиться с проволокой, остальные члены кафедры переместились в безопасное место у меня за спиной, потому что я дважды чихнул, обрызгав кровью общий стол и замавав льняной костюм Финни розовыми брызгами.

Все это Тедди теперь пересказывал моей жене и, надо отдать ему должное, на том историческом оборвал. Не зря же он преподает литературу – кое-что в нагнетании напряжения перед кульминацией он смыслит.

– И вот мы все снова сидим вокруг стола. – Он улыбнулся Лили. – Твой муж высмаркивает кровь в охапку коричневых бумажных полотенец из туалета. Грэйси балабочет про то, как ей жаль. Финни оттирает носовым платком свой костюм. И – ни за что не угадаешь, что тут сделал твой муж.

По выражению его лица я понял, что Тедди и впрямь уверен: хоть миллион лет ломай себе голову, никто не угадает, как поступил Уильям Генри Деверо Младший. Но он забыл, к кому обращается, – к женщине, которая прожила с Уильямом Генри Деверо Младшим без малого тридцать лет и которая считает, что знает его лучше, чем он сам знает себя.

– Наверное, предложил подытожить обсуждение, – ответила моя жена, даже не замешкавшись, и глянула на меня в упор, словно бросала вызов: посмей это оспорить.

У Тедди вытянулось лицо. Вид у него сделался такой, будто ему вторично заехали в пах.

– Точно, – кивнул он, голос сиплый от глубокого разочарования. – Так и сказал: «Давайте голосовать».

Моя жена тоже выглядела разочарованной – ведь нет особой доблести в том, чтобы предсказать очередную выходку мужчины, подобного мне.

– Ты же знаешь, как Грэйси относится к своим стихам. Почему ты так себя ведешь?

По правде говоря, не знаю. Я вовсе не собирался унижить Грэйси. По крайней мере, пока не завелся, потом-то это казалось вполне естественным, хотя я опять-таки не помню как и почему. Я вовсе не так уж плохо отношусь к Грэйси. Во всяком случае, не питаю к ней антипатии, когда о ней думаю. Когда я тут, а она там. Но вот когда она рядом и ее можно подколоть, удержаться я не могу. Так у меня происходит и с некоторыми другими коллегами, хотя заочно они вроде бы и не тревожат меня.

– В общем, – сказал Тедди, – я подумал, что лучше отвезу его домой. Пока он мне даже спасибо не сказал.

Дружба между Тедди и Лили в значительной мере основана на их общем убеждении в моей неблагодарности.

С моей точки зрения, я не такой уж неблагодарный человек, но я готов играть эту роль.

– Спасибо за что? – спросил я. – Благодаря тебе мой автомобиль остался на парковке для сотрудников. Лили придется отвезти меня в кампус, прежде чем она уедет в Филадельфию. Все ради того, чтобы явиться сюда и флиртовать с ней.

Тедди так покраснел, что Лили наклонилась к нему и поцеловала в щеку – от этого он и вовсе побагровел.

– Время от времени ужасно хочется, чтобы с тобой кто-нибудь пофлиртовал, – сказала она ему, хотя, похоже, эта ремарка была адресована мне.

– В Филадельфию? – спохватился Тедди.

– Собеседование, – объяснила она.

И тут он побледнел, вся вызванная смущением кровь отхлынула от его щек. Он переводил взгляд с Лили на меня.

– Вы, ребята, подумываете уехать?

– Нет. – Она похлопала его по руке. – Только никому не говори. Директор нашей школы в следующем году выходит на пенсию. Я хочу заставить школьный совет назвать преемника.

Облегчение на лице Тедди можно прочесть невооруженным глазом.

– Пусть Джун позвонит мне, если ей надо что-то привезти.

– Она попросит то оливковое масло, – ответил Тедди печально, словно назубок знал все желания своей жены и предпочел бы не вспоминать о них.

Когда Тедди соскользнул с барного стула, Лили вызвалась проводить его до машины, а я отнес пустые кофейные чашки в раковину. В кухонное окно я видел только их головы (верхнюю часть), когда оба остановились на подъездной дорожке ниже веранды, и слышал сквозь стекло приглушенные голоса. Что-то в их позах, какой-то намек на немыслимую прежде близость, побудило меня вообразить Лили и Тедди любовниками. Я поместил их в нашу постель, Лили сверху, потому что Тедди я никак не мог представить сверху. Ни с Лили, ни с его женой, ни с какой-либо совершеннолетней женщиной. Слишком уж виноватым он себя всегда чувствует. Что еще страннее, я вообразил себя в том же помещении – свидетелем, раздираемым сразу несколькими правдоподобными, но едва ли сочетаемыми или хотя бы разумными эмоциями: удивлением, гневом, ревностью, любопытством, возбуждением. Я сказал себе, что я способен со стороны воспринимать эту воображаемую измену только потому, что знаю: Тедди и Лили не любовники. В реальной жизни, если бы мечта Тедди вдруг сбылась, он бы тут же признался. Прибежал бы в мой кабинет, вычерпанный до доньшка, счастливый, отчаянный, рассказал бы, что натворил, потом купил бы пистолет и выстрелил себе в ногу в качестве комического искупления, а после принялся бы извиняться заново за то, что не поступил более мужественно. Он же университетский человек, как и все мы.

Они скоротечно, целомудренно обнялись и простились. Я был почти разочарован. Мне послышалось, Лили просит его передать привет Джун, которую она не видела вот уж не вспомнить с каких пор. Потом Тедди задал какой-то вопрос, я не сразу смог разобрать. Он спрашивал – мне кажется, похоже на то, что спрашивал, – все ли со мной будет в порядке, по мнению Лили. И я понял – это меня несколько встряхнуло, – что он подразумевает не мой нос. Хотелось бы мне разобрать и ответ Лили, но не получилось.

Через дорогу, на вершине другого холма, виднелась спутниковая тарелка Пола Рурка, наполовину скрытая ветками деревьев. Именно в этот момент она вздумала возвращаться в поисках сигнала от другого спутника. Тарелка Пола Рурка то и дело возвращается. Он помешан на профессиональном баскетболе и постоянно ищет трансляции. Я понимаю, это оптическая иллюзия, но когда тарелка останавливается, мне кажется, что она смотрит прямо на меня. Будь это научно-фантастический фильм, из ее темного центра ударил бы луч и обратил меня в прах. Между тарелкой и мной – только мое бледное отражение в оконном стекле. Я попытался всерьез рассмотреть вопрос Тедди, но для мужчины моего склада это нелегко. Разумеется, все со

мной будет в порядке. Конечно, из оконного стекла на меня глядит не такое уж юное лицо, но покореженный нос – единственное, что в нем есть страшного.

Я все же всмотрелся в багровое вздутие, когда позади моего отражения появилось лицо Лили.

– Порой ты бываешь таким мудаком, – печально сказала она.

Глава 2

Обычно я бегаю перед ужином, но из-за Тедди, который привез меня домой, пил у нас кофе и флиртовал с Лили, все сдвинулось, и к тому времени, как мы с женой закончили тихий ужин, стемнело, но сейчас полнолуние, а машин на нашей сельской дороге почти нет. Я надел спортивную форму и вышел на веранду размяться. Отсюда я мог озирать то, что мы давно привыкли называть своим миром.

Дом – в этом доме мы живем с тех пор, как уехали из Рэйлтона, – находится на вершине длинного, извилистого, окаймленного деревьями подъема. Ниже меж деревьев пристроилось еще с полдюжины домов, все более дорогие, чем наш, все принадлежат университетским сотрудникам – профессорам, администраторам, тренеру. Летом, когда все покрывается зеленью, ни один дом на холме не просматривается со стороны других и возникает иллюзия уединения, которую лишь изредка нарушают промельки цветного металла, если проскользнет автомобиль одного из соседей; желтеющий в ночи сквозь колышущуюся листву огонек; чужой спор у распахнутого кухонного окна – ветер далеко разносит голоса. Но осенью и всю долгую пенсильванскую зиму присутствие соседей становится ощутимее, поскольку деревья обнажены и мы оказываемся на виду. Итак, по меньшей мере полгода мы застенчиво машем друг другу рукой, когда садимся в свои машины или выходим из них, выносим мусор или сметаем с веранды снег. Сейчас апрель, и мы нетерпеливо ждем уединения, ради которого изначально и перебрались в Аллегени-Уэллс.

Мы с Лили купили первый из предназначенных под застройку участков примерно двадцать лет назад; аванс за мой роман позволил сделать взнос и начать работы. В отличие от тех, кто появился позже, мы спилили большую часть деревьев и посеяли траву. Лили, выросшая в темном, мрачном квартале Филли, жаждала света, больше света, и чтобы я проходился газонокосилкой по длинным покатым лужайкам. А еще она хотела веранды, спереди и сзади, и полный набор садовой мебели, словно шезлонги способны отпугнуть пенсильванскую зиму. Разумеется, эту садовую мебель семь месяцев в году приходится хранить в гараже под передней верандой. И все же наша веранда – лучшая из всех окрестных. Заодно с деревьями сократилась и популяция насекомых, они редко нам досаждают. Соседи ниже по склону и по ту сторону дороги жалуются, что вынуждены скрываться в доме, как только солнце зайдет за деревья. С нашей веранды мы слышим пшикающие синкопы спрея от мошкары.

Посидеть летом на веранде – тут у меня и Лили вкусы вполне совпадают. Через несколько недель закончится учебный год и потянутся долгие летние вечера. Будем выходить на веранду, прихватив с собой охлажденное белое вино, читать или болтать, пока не потянет в сон от вина и темноты. Много лет назад, когда наш дом был новым, мы порой занимались любовью на веранде, но с тех пор уже немало воды утекло. Кое-что можно сказать в пользу секса вне дома, с легким риском и сопутствующим ему возбуждением, но здравомыслящие супруги средних лет чувствуют себя довольно глупо, совокупляясь на пластмассовой уличной мебели. Кожа к ней прилипает, а когда отдираешься, раздается глупейшее чмокание. Да и особого рода возбуждение, вызванное опасением быть застигнутым в пароксизме страсти, угасает, поскольку, само собой, никто вас не застигнет. Темной тихой летней ночью за городом вы услышите, как чужой автомобиль въезжает на холм, когда он будет еще в полумиле внизу, и распознаете, если он свернет на подъездную дорожку, и проследите, как он пыхтит, взбираясь на вершину, к дому. К тому времени, как гость, кто бы это ни был, припаркуется и поднимется по скрипучему крыльцу на веранду, вы успеете ополоснуться, переодеться, поставить кофейник на огонь и выложить на тарелку печенье. Какие сюрпризы в нашем-то возрасте.

Но не эта ли тайная страсть к сюрпризам, думал я, совершая на веранде предписанные глубокие наклоны, только что побудила меня вообразить мою жену и моего друга любовни-

ками? Не впервые за последнее время посещают меня такие видения. Однажды, несколько месяцев назад, – то ли потому, что я услышал про его развод? – мне пришло в голову, что Лили может увлечься своим коллегой в школе, неким Винсом, с которым мы оба много лет дружили. Печальный, серьезный, достойный и застенчивый в обществе человек, он всегда казался тем типом, который мог бы привлечь Лили, если бы не опередил его легкомысленный, иронизирующий, гладкий и длинноногий малый вроде меня, и по неведомой причине придумывать новую любовь Лили было до дрожи захватывающе, как будто естественно для мужчины пожелать нечто подобное своей жене, если бы только ей не пришлось в таком случае предать его самого. С неделю я высматривал в Лили признаки влюбленности, но развить эту фантазию не получалось, хотя я, опять-таки по неведомой причине, старался.

С тех пор та фантазия сменялась все более нелепыми, но очень яркими картинками того, как Лили предастся страсти с тем или иным кавалером, и я невольно задаюсь вопросом, что же они значат. Потому что в определенном смысле не так уж они и нелепы. Моя жена привлекательна, тут я могу сослаться не только на упорную преданность ей Тедди, но и на мою собственную. Нет сомнения в том, что она способна кого-то увлечь. Так не будет ли самонадеянностью полагать, что, выйдя замуж за Уильяма Генри Деверо Младшего, она приобрела иммунитет и не способна влюбиться в другого? Ну да, самонадеянно, и все же по причинам, которые я опять-таки не могу сформулировать (догадываюсь, в иные моменты Лили не так уж мной довольна), я попросту знаю, что она любит меня и что никого другого она не любит. Именно эта уверенность и делает мои странные, непрошенные фантазии совсем уж пугающими. Многие мои коллеги-мужчины – женатые и разведенные – нередко признаются в сексуальном томлении. Всем охота с кем-то перепихнуться. Но, насколько мне известно, я – единственный, кому регулярно видится, как с кем-то перепихивается жена.

Но когда я оглядываю деревянные дома вокруг, то вдруг понимаю, что в них могут гнездиться и куда более странные причуды. В большинстве из них обитают разочарование, и измена, и смятение чувств. Многие выставлены на продажу – с тех пор как их осквернил развод. Экс-жена Джейкоба Роуза, например, так и живет в соседнем с нами доме. Бывшая Финни живет у подножия холма. Завершение строительства почти совпало с тем днем, когда Финни обнаружил свою истинную сексуальную ориентацию, и хотя впоследствии он от нее отсекся и вернулся, как он утверждает, в гетеросексуальную когорту, к жене он не возвратился. Вряд ли мое воображение безумнее, чем у бывшей Финни, которая отваживается высунуться из построенного ими вместе дома лишь при крайней необходимости.

И опять-таки нам следовало задуматься, что символизируют эти новые дома, построенные на развилках наших карьер – через год или два после получения доцентской или профессорской должности, с невысказанным вслух признанием, что для второго или третьего ребенка городской домишко будет маловат, с глухим пониманием, что получить должность в заведении вроде Западно-Центрального Пенсильванского университета не многим лучше, чем выиграть конкурс говноедов. Этот успех вовсе не подразумевал, что твоя ценность возросла и на открытом академическом рынке. Чтобы перейти в колледж уровнем выше, пришлось бы от чего-то отказаться – от постоянного контракта, статуса или уровня оплаты, – а то даже от двух из этих приманок в какой-то комбинации. Кое-кто решился. Лили и мне тоже, наверное, следовало. После выхода книги можно было потратить аванс на переезд. Но мы бы скоро убедились, насколько дороже обходится жизнь в тех местах, где все хотят жить. Аванс и повышенное жалованье, запустившие бульдозер выворачивать деревья на вершине холма в Аллегени-Уэллс, не завели бы даже бензопилу в Итаке, Беркли или Кембридже.

Кто знает? Может, мудрость заключалась именно в том, чтобы не трогаться с места. Через месяц с небольшим мне стукнет пятьдесят, а книга, которую я опубликовал в двадцать девять лет, представляет собой, как любит напоминать Пол Рурк, полное собрание сочинений Уильяма Генри Деверо Младшего. У косматого, бородатого писателя, который столь пронзи-

тельно глядит в камеру с обложки «На обочине», мало общего осталось с чисто выбритым, помаленьку лысеющим профессором (с пробитым хоботом), чье отражение глянуло на меня из темного кухонного окна. Иногда я говорю себе, что меня бы, возможно,хватило еще на одну книгу, если б я попал в другую, более взыскательную среду, где студенты умнее, коллеги честолюбивее и всех объединяет потребность в творчестве, подобающее уважение к интеллектуальной жизни. А потом вспоминаю бритву Оккама, которая явно указывает: просто я – автор единственной книги. Если бы я мог больше, написал бы еще. Все просто.

Лили, со своей стороны, любит напоминать мне, что проблемой обернулось не столько строительство дома, сколько приобретение двух соседних участков с целью обойтись без соседей. Вот с чего, утверждает Лили, начались Великие войны кафедры английской литературы, бушующие поныне (и затихать они, похоже, не собираются). По мнению моей жены, приобретая эти участки, мы запустили маховик событий, которые с неизбежностью привели к тому, что Грэйси Дюбуа разодрала мою ноздрю спиралью своего блокнота. Поскольку длинная цепочка причин и следствий едва ли может оборваться, пока большинство участников этой игры живы, есть все основания ожидать новых последствий пусть и столь отдаленной и все более отдаляющейся причины. Если бы не бритва Оккама, требующая максимальной простоты, я бы поддался искушению поверить, что отдаленные причины влияют на человека больше, чем те, что на виду. Это особенно верно для сверхобразованных людей, которые способны видеть поверх настоящего и порой бывают одержимы прошлым. Старые конфликты, оставшиеся без решения споры настигают нас снова, полузабытые, и гонят в бой. Ничто из того, что я сказал на сегодняшнем собрании, не могло спровоцировать нападение Грэйси, но может спровоцировать другое нападение – если мы оба еще будем живы лет через десять или двадцать, когда сегодняшнее мое подначивание даст плоды. И если Пол Рурк когда-нибудь изобретет способ прикончить меня и замаскировать убийство под несчастный случай, это произойдет не из-за очевидной полуосмысленной обиды на меня, а из-за того, что я почти двадцать лет назад ответил отказом на его просьбу продать участок. Возможно, все на самом деле просто и бритва Оккама вполне применима и к застарелой вражде в целом, и к нашей с Рурком вендетте в частности – все растет из одного и того же семени, посаженного очень давно.

Предложение Рурка было первым из множества прочих, нас и поныне просят продать эти два смежных участка. Случилось вот что: как только расчистили от леса подъездную дорогу на холм, началось столпотворение. Владелец этой земли годами добивался застройки, и все впустую. Все видели, что это отличное место для жилья, но никто не хотел быть первым. Но еще не завершилась закладка фундамента под нашим домом, как на полпути к вершине холма купили еще три участка. В ту осень Джейкоб Роуз стал деканом, приобрел самый крупный из оставшихся участков, полных два акра, начал строить дом вдвое больше нашего, как полагается декану, пусть всего лишь гуманитарного факультета. В ноябре Финни и его жена купили участок у подножия. Услышав об этом, я обратился в кредитное общество за займом.

– Мы перебрались сюда, чтобы сбежать от всех этих людей, – объяснил я Лили, которая отчаянно возражала против новых долгов ради такой цели.

Почему-то Лили вовсе не разделяла того ужаса перед нависшим роком, который настигал меня при виде табличек «Продано», прибитых к деревьям вдоль подъездной дороги. Я не понимал, как же она не видит, что творится. Я был убежден (и остаюсь при этом убежден), что два любящих друг друга человека вовсе не обязаны разделять на двоих все мечты и устремления, но кошмары-то у них должны быть общие!

– Ты не видишь, к чему это ведет? – твердил я. – Английская кафедра переселяется в Аллегени-Уэллс.

Она уставилась на меня долгим взглядом, симулируя полное непонимание, потом произнесла мое имя таким тоном, который она пускает в ход, когда хочет намекнуть, что я веду себя неразумнее обыкновенного.

– Хэнк! – сказала она. – Джейкоб Роуз твой друг. И что не так с Финни и Мари?

– Что не так с Финни и Мари? – вскричал я, притворяясь, будто ушам своим не верю. Не совсем притворяясь даже. – Господи, к чему мы так придем? Сегодня Финни, завтра кто?

Пол Рурк – вот кто. Он позвонил мне в декабре, через три месяца после того, как мы на взятые в кредит деньги выкупили соседние участки.

– Не продается, – отрезал я.

– Все продается, – сказал он, с полуслова меня обозлив. Видимо, решил, что я набиваю цену. Немногие оставшиеся участки стоили теперь вдвое больше, чем год назад, когда я покупал первый, и Рурк указал мне: если я уступлю два смежных участка за предложенную им сумму, собственную землю я получу как бы даром.

– Не говнишь, – посоветовал он, – я слышал, на той стороне дороги тоже будет застройка. Если там появятся свободные участки, кто станет прогибаться под тебя?

– Ты всегда прогнешься под меня, – помнится, ответил я, – и не думай, что я этого не ценю.

Слухи, однако, не обманули. На той же неделе желтый бульдозер, грейдер и большая землечерпалка материализовались на повороте нашей сельской дороги, и на два дня воздух наполнился пылью от падающих деревьев. Лили и мне было все видно с передней веранды. В конце ноября ветки оголились, и холм на той стороне хорошо просматривался. Вдоль всего склона появились красные столбики застройщиков, похожие издали на гаммелис, – они размечали границы участков и повороты будущей подъездной дороги.

– Вроде бы Гарри уверял нас, что вся земля по ту сторону дороги принадлежит штату, – пожаловался я Лили, которая присоединилась ко мне на припорошенной снежком веранде и тоже наблюдала.

– Теперь тебе уже и на той стороне дороги люди мешают, – заметила она. – С каждым днем ты становишься все мизантропичнее.

– Я становлюсь старше с каждым днем, – напомнил я. Даже сейчас я не считаю себя брюзгой, а тогда и подавно, однако я могу играть эту роль. – Я приобретаю все более широкие и глубокие знания о человеческой натуре.

– Вообще-то ты становишься похожим на своего отца, вот и все.

Я знаю, что нельзя возражать, когда Лили втаскивает в разговор моего отца. Это сигнал – она готова к грязной и подлой драке. И кроме того, тем самым она бросает мне вызов: попробуй-ка я затронуть ее отца – мне хорошо известно, к чему это приведет.

– Существенная разница в том, что моему отцу нравится быть таким, – возразил я, – а мне нет.

Наверное, это прозвучало как определенного рода уступка, Лили не стала развивать свой успех.

– Теперь жалеешь, что не продал участок Рурку?

– Господи, вот уж нет.

– Возможно, еще пожалеешь. Он тебе этого никогда не простит.

Не требовалось смотреть в хрустальный шар для такого пророчества. Я напомнил Лили, что Рурк возненавидел меня задолго до того, как я отказался продать ему участок, что ему судьбой предопределено ненавидеть меня, что он как-никак обезумевший рационалист, выбравший себе самую скучную тему во всей длинной истории литературы (английскую поэзию восемнадцатого века), что он – озлобленный отступник от католичества, изгнанный семинарист, который так и не сумел до конца избавиться от заученной им старой теологии, хоть и научился ее презирать, но гонит он на иезуитском бензине. Если бы я позволил ему стать нашим соседом, близость породила бы лишь десятки новых причин для ненависти. И если бы он жил чуть ли не дверь в дверь со мной, он бы мог проследить, когда я ухожу и прихожу, и даже, вероятно, изобрел бы к нынешнему времени какой-нибудь способ убить меня и выдать

мою смерть за несчастный случай. В то время как теперь, если он захочет меня убить, ему придется перейти дорогу, пройти мимо домов, где живут бывшая жена Джейкоба Роуза, бывшая жена футбольного тренера и другие бывшие жены, всё мои знакомые. Я рассматриваю бывших жен как последнюю линию обороны.

Правда, в какой-то момент я засомневался, спасут ли они меня, поскольку новая застройка – Аллегени II – с самого начала оказалась несчастливой. Хотя непредвзятому глазу наши холмы показались бы идентичными сиамскими близнецами, соединенными тонким позвоночником из асфальта, дома на той стороне словно прокляты. Когда шел дождь, там у всех подтопляло подвалы. Грязь сползала с холма, образуя внушительную кучу возле каменных столбов, отмечавших вход в «имение». Под напором этой грязи столбы заметно покосились. Полы на всех деревянных верандах застелили криво, и тихим летним вечером с нашей стороны дороги можно было время от времени слышать щелчки трескающихся брусьев.

Мало того – однажды летом весь лес вокруг Аллегени-Уэллс был объеден непарным шелкопрядом и в июле стоял голый, как зимой, так что мы, на счастливой стороне дороги, имели возможность хорошенько обозреть сторону обреченную. На следующее лето листья выросли у нас на холме вновь, зелень казалась вдвое ярче и сочнее прежнего, а той стороне был, таинственным образом, причинен более серьезный ущерб: там многие деревья умерли, и их пришлось вырубить, из-за чего усилились грязевые потоки, а редкие уцелевшие деревья с трудом производили чахлую листву, которая уже в августе становилась желто-коричневой.

За все это – затопленные подвалы, трещину в стене гостиной, грязь, по которой ему приходилось проезжать между накренившимися столбами у ворот Аллегени II, даже за непарного шелкопряда – Пол Рурк возлагал ответственность на меня. Сколько бы он ни заверял всех в обратном, я знаю, что Рурк человек глубоко верующий, вовсе не атеист, каким он себя представляет. Истинная его вера – в существование злобного божества, единственная цель которого состоит в том, чтобы постоянно обрушивать на Пола Рурка все новые доказательства фундаментальной несправедливости мира, и я столь же постоянно служу наглядным свидетельством этой несправедливости. Это Рурк подсказал мне псевдоним для «Зеркала Рэйлтона». Счастливчик Хэнк – это прозвище он мне дал.

Сам я человек не религиозный, но могу играть эту роль и часто ее играл перед моим озлобленным соседом. Я именовал разделяющую два поселка асфальтовую шоссею «Красным морем». Он живет в Египте, твердил я Рурку и спрашивал, какого рода казнь ожидает он нынешней весной, какими еще знамениями Господь явит свое неудовольствие и сколько еще знамений требуется атеисту, чтобы уверовать. Я говорил, что меня тревожит его соседство. До сих пор Господь соблюдал разделяющую нас границу, но Ветхий Завет полон примеров того, как праведные погибают вместе с грешниками. Я говорил ему, что если бы продал ему тот участок, который он пытался купить, то гибель уже настигла бы меня.

С упражнениями на растяжку я закончил побыстрее. Делаю я их исключительно из-за порванных прошлым летом связок. Случилось это как раз у подножия нашего холма – послышался такой отрывистый звук, как от лопнувшей струны, и до конца лета я хромал и вынужден был играть в софтбол на первой базе, а весь первый семестр не мог участвовать в матчах НБА (Нашей Баскетбольной Ассоциации). Последствия травмы все еще чувствуются – эдакий призрак в ноге. Справиться с этим мне помогает сознание, что добродетель время от времени вознаграждается, а кроме того, я твердо намерен вернуть себе позицию на левом фланге, хоть и опасаясь, что травма лишила меня ее навеки. К несчастью, оказалось, что и на первой базе я играю отлично. Я – высокая и поджарая цель для тех, кто бросает с другой стороны поля, и длинные руки помогают мне дотянуться до мяча. Фил Уотсон, выступая в двойной роли моего врача и капитана команды, после первого же иннинга объявил, что центр, первая база – моя естественная позиция.

– Естественная физическая позиция, – поправил я его.

Он поморщился от такого уточнения.

– Потому что моя духовная позиция – аутфилд⁴, – сказал я. Да, я удобная мишень для защитников, но я становлюсь самим собой, когда устремляюсь в аутфилде за высоким мячом. Скорость у меня уже не та, но длинный, изящный шаг все еще при мне. – Я чувствую себя аутфилдером. Мой дзен находится на левом фланге, – развил я свою мысль. – Можно сильно повредить аутфилдеру, заставив его играть на первой базе. Нельзя смещать человека с его духовной позиции.

– Что за духовная позиция? – донесся неведомо откуда голос моей жены. Я поднял голову и обнаружил Лили у окна ее кабинета – удобный наблюдательный пункт, с которого она, похоже, присматривалась ко мне.

Неужели я говорил вслух? Не дождавшись ответа на свой вопрос, она продолжала:

– Даже не говори мне, что собрался бегать в темноте.

– В основе хороших отношений лежит честность, – ответил я. – Я не могу честно заверить тебя, что не собираюсь бегать. Могу лишь обещать, что побегу не слишком быстро, если тебя это волнует.

– У тебя еще не прошла простуда.

– Мне уже лучше, – подбодрил я жену.

– Хэнк! – сказала она. – Ты всю неделю принимаешь антигистамины.

– Аллергия. Все цветет.

Я огляделся по сторонам в поисках чего-нибудь цветущего.

Лили только головой покачала. Разве со мной мало неприятностей приключилась за сегодня, вот что она хочет сказать. Нос изувечен. Вроде бы достаточно? Намерение пробежаться вдоль темного сельского шоссе прямо сейчас кажется ей извращением – будто я пытаюсь нарваться на новые травмы. Лили считает, что в таких рассуждениях есть логика: трагедия с моим носом повышает вероятность трагедии на дороге. Я отчасти даже ожидал, что Лили напомнит о злосчастиях, преследующих меня весь год. Последнее – две недели назад, когда я карабкался на стремянку, не соразмерил, как близко уже гаражные балки, и врезался головой в крепкий дубовый брус. Лили обнаружила меня четверть часа спустя на бетонном полу – я сидел и моргал глазами, а с волос на толстовку стекала струйка крови. По выражению ее лица я догадывался, что Лили совсем не прочь мне об этом напомнить, но она не стала. Одно из преимуществ нашего брака (с моей точки зрения) заключается в том, что нам не приходится уже спорить обо всем от и до. Мы оба знаем, что может сказать другой, а потому произнесение аргументов вслух попросту излишне. Уж конечно, какой-нибудь семейный психолог постарался бы нам доказать, что мы страдаем от недостатка общения, однако, с моей точки зрения, мы оба долго и тяжело трудились, чтобы достичь такого молчания, свидетельствующего о том, насколько мы, Лили и я, понимаем друг друга.

– Когда вернешься, надо поговорить, – сказала она, будто вновь подслушала мои мысли.

– Хорошо. – Я постарался изобразить предвкушение или хотя бы готовность.

– Возможно, мне следует отменить поездку.

– Нет, – сказал я, – обязательно поезжай.

– С тобой все будет в порядке?

– Разумеется. Почему бы и нет?

Но на этот раз момент для идеальной риторической паузы точно угадала жена.

– Левый фланг, – признался я. – Моя духовная позиция.

А не первая база.

– Я знаю, Хэнк. – И тон ее давал понять: знает она еще много чего.

⁴ В бейсболе и софтболе аутфилд – позиция на самом краю игрового поля.

Глава 3

У подножия нашего холма я свернул, как обычно, влево и побежал прочь от города. Лили сворачивает вправо и бежит в сторону Рэйлтона, утверждая, что на этой дороге вид красивее и не приходится подниматься в гору. Очень в духе Лили – бежать в сторону города, а она бы сказала, что очень в моем духе – бежать прочь от него. Моя логика проста: нет смысла тратить уйму денег на строительство дома в сельской местности, чтобы потом бегать в сторону города, из которого только что удрал. А если бежать в противоположном направлении означает, что ты бежишь прочь, – тем лучше.

Логика Лили, должно быть, сложнее, – впрочем, моя жена и не была никогда поклонницей бритвы Оккама. У нее, учительницы в трещащей по швам системе государственного образования, куда больше причин бежать из города, чем у меня, однако дочь филладельфийского копа воспитана в духе «обернись и дерись». Вместо того чтобы использовать свой статус в школе – постоянную ставку, стаж, очевидный педагогический талант – и добиться лучшего положения, преподавать выпускникам или, как жены многих моих коллег, перебраться в университет, где нагрузка поменьше, Лили опустила на самое дно общеобразовательного омута и учит отстающих ребят, «дубов», как их именуют другие преподаватели. Нет, наш полный воздуха и света дом в Аллегени-Уэллс не предоставляет Лили укрытие от городского шума, лишь временное прибежище, куда она отступает, чтобы подзарядить аккумулятор для завтрашней битвы. Бегаю медленнее меня, но расстояние преодолевает побольше, и с вершины последнего холма, на который она взбирается перед возвращением, Лили смотрит на Рэйлтон в низине – закопченный, беспорядочно разбросанный, глубоко довольный собой – и видит свою миссию. Правда, я не знаю, так ли это на самом деле. Я даже не знаю, как далеко бегают Лили. Это мне так представляется.

Мой выбор противоположного направления свидетельствует, я полагаю, о более печальной истине – о том, что нам следовало вовсе покинуть Рэйлтон, не ограничиваясь этим трусливым отступлением на жалкие четыре мили. Когда ветер дует из города, он несет темные, как сажа, хлопья, похожие на загрязненный снег. Так что я бегу подальше в зеленые холмы и леса, думая о том, что они простираются, почти непрерывно, до самой Канады, где, как уверяет нас реклама пива, все чисто и девственно.

Примерно в миле по асфальтовой дорожке расположена деревушка Аллегени-Уэллс, всего из двадцати домов, размером примерно как оба Имения Аллегени вместе взятые. Дома здесь меньше, по большей части одноэтажные особнячки на две спальни с мансардой, и они жмутся друг к другу вокруг единственного в деревне перекрестка с пресвитерианской церковью – на ее колокольне как раз вспыхнул свет, когда я вбежал в поселок. За исключением времени служб церковь всегда на засове – возможно, для того, чтобы ее не использовали в качестве пристанища замерзшие и выбившиеся из сил бегуны вроде меня. Я прикинул, не совершить ли мне круг почета вокруг этого строения со шпилем и не повернуть ли обратно. В конце концов, две мили наберутся, а я всего лишь две недели как начал снова бегать. Но боль в носу почему-то придала мне дополнительной энергии, и дыхание вырывалось такими белыми, бодрящими клубами, что я решил свернуть на перекрестке вправо и пробежать еще полмили до того места, где моя дочь Джули и ее муж Рассел начали минувшей осенью строить собственный дом. Пусть моя жена думает, что я бегу от неприятностей, но, с моей точки зрения, неприятности поджидают меня в любом направлении, в том числе в этом.

Дом Джули – запретная тема. Стоит ее затронуть, Лили бросает на меня предостерегающий взгляд и вслух напоминает, что мы договорились не лезть в жизнь детей. В целом я согласен. Я вовсе не хочу мешаться в чужие дела, даже когда чертовски ясно, что кто-то ими

должен заняться. Но едва ли было бы такой уж бесцеремонностью ткнуть нашу дочь Джули в очевидный факт: дом, который они с Расселом затеяли строить, им не по карману.

Этот факт бросается в глаза до такой степени, что едва ли мог ускользнуть даже от Джули, ничего не смыслящей в деньгах – ни откуда они берутся, ни насколько их хватает, ни куда они деваются и сколько придется ждать, прежде чем они появятся снова, и что делать до тех пор. Хуже этой ее наивности лишь нежелание признать свою наивность. Если по неосторожности спросишь, как она могла совершить ту или иную глупость, Джули тебе все подробно объяснит. Дом, проинформировала меня дочь, это не просто дом, но и возможность избежать налогов.

– Ты шутишь, да? – спросил я, высматривая приметы шутки, но обнаружил гнев.

– Налоговые льготы нужны тем, кто зарабатывает слишком много денег, – попытался я разъяснить. – А не тем, кто зарабатывает слишком мало. Понимаю, что и с таких доходов тебе не хочется платить налоги, но из этого не следует, что тебе нужны льготы.

Воздействие моей казначейской мудрости на Джули было настолько предсказуемым, что даже я мог бы его предсказать. С самого начала она стояла на том, чтобы не просто построить этот дом, но построить его *вопреки всему*, хоть ад разверзись, вопреки реальности и здравому смыслу, поскольку в глазах Джули реальность и здравый смысл – именно такие препоны, которые надо превозмочь. Джули обожает кино и, я так понимаю, насмотрелась чересчур много фильмов, в которых обреченные побеждают и вера вознаграждается. Попытавшись внушить ей здравый смысл, я и сам сделался одной из и без того многочисленных препон, которые моя дочь отважно преодолевала. К тому же она любит и телевизор, и, боюсь, ее мыслительные процессы повреждены рекламой. Как множество американцев, она разучилась понимать простые слова. Не видит ничего абсурдного в лозунге «Ты этого достойна», к какому бы сегменту общества он ни применялся. Верит, что «достойна» астрономических сумм, которые тратит на уход за волосами. У кого-то из подруг большой дом? Так что же, она не имеет права на такой же? Не *достойна*?

Когда Лили твердит, что нельзя лезть в жизнь выросших детей, она подразумевает, что мы обязаны делать хорошую мину при их плохой игре, даже наедине друг с другом. Будь на то ее воля, мы бы никогда не упоминали поступки наших детей, порой граничащие с безумием, как будто если мы признаем и осудим ошибки, то тем самым сглазим и без того обреченные планы. Будь великодушен, призывает меня жена. Предоставь им шанс проиграть.

Да бога ради. Но противно, что приходится все время притворяться. Мы делаем вид, будто они поступают умно, когда они тупят. Подобного рода притворство, пытаюсь я втолковать Лили, категорически противоречит бритве Оккама, требованию не плодить сущности без нужды. Ложь и притворство, объясняю я ей, всегда влекут за собой новую ложь и еще больше притворства. «Ты должен сделать вид, будто удивлен» – излюбленное светское правило моей жены, с виду безобидное. От меня требуют, чтобы я следовал ему каждый раз, когда кто-то совершает абсолютно предсказуемый поступок, который якобы должен заставить меня врасплох. Изображать из себя идиота – почему-то Лили, в отличие от меня, эта роль вовсе не кажется непристойной. Не говоря уж о том, что потом это непременно обратят против меня. («Мы думали, ты что-то заподозришь, увидев столько машин возле дома в свой юбилей. Разве писателю не полагается быть наблюдательным?») У Лили есть, конечно, свои резоны. Главным образом, она боится задеть чувства других людей. И вот я должен изобразить ах какое удивление, услышав о беременности нашей общей подружки через несколько недель после второпях организованной свадьбы.

– Но *мои* чувства будут задеты, если меня примут за дурака, – твержу я жене. – Разве тебе все равно, что люди подумают обо мне?

А она только смеется.

– Они и не заметят. В других случаях ты же и правда соображаешь довольно туго, так что не отличишь.

И вот мне вменено притворяться, будто затеянное Джули и Расселом строительство не ведет прямиком к катастрофе. Для вящего подтверждения иллюзии, что верим в их здравый смысл, мы одолжили дочери деньги. Я придерживался на этот счет особого мнения, чем раздосадовал Лили, да и сам порой слегка раскаивался в своем жестокосердии. Если в итоге дом разорит их, я буду виноват в том, что не оказал душевной поддержки.

Шансы разориться я оцениваю сейчас как пятьдесят на пятьдесят. Недавно Рассел бросил хорошую работу ради, как он полагал, лучшей, но тут же выяснилось, что крупные государственные займы, необходимые для запуска проекта, который он должен был возглавить, так и не были одобрены. Придется ждать несколько месяцев, сокрушается он. А то и год. На что они будут тем временем жить – не понимаю. Не на зарплату же продавца в отделе рэйл-тонского универмага, которую получает Джули. Рассел, специалист по программному обеспечению, немножко подрабатывает фрилансом.

Дом – наглядное свидетельство внезапной перемены их фортуны. С фасада – точная копия нашего дома, и это не случайность: тот же подрядчик, тот же проект. Лили права – иногда до меня и правда медленно доходит. Что-то смущало меня, пока я следил, как новый дом растет из земли, но прошло много недель, прежде чем я нащупал причину: наша дочь воспроизводит наш дом. Лишь при виде двух веранд, спереди и сзади, смутно брезжившее подозрение обрело ясность.

– Как они раздобыли проект, хотел бы я знать, – сказал я.

– Я им дала, – ответила моя жена так, словно уж в такую-то жизненную тайну даже я должен был бы проникнуть без ее помощи.

– Ты дала им план нашего дома? – переспросил я. Ощущение таинственного устройства жизни вовсе не ослабло.

– Это сэкономило им прорву денег.

Имелись и другие преимущества, по словам моей дочери.

– Карл, – рассказывала она, называя по имени нашего подрядчика, – говорит, что уж на этот раз сделает все по уму. Говорит, он помнит все мелочи, которые просрал, когда строил ваш дом. Наш будет безупречен.

Тайна громоздилась на тайну. Как случилось, что моя дочь называет по имени того самого подрядчика, что гонял меня хуже собственных рабочих и совал в карман чеки, не допуская и намека на фамильярность? И с каких пор моя младшая дочь произносит в моем присутствии выражения вроде «просрал»? А самое главное: зачем Джули понадобилась точная копия (пусть безупречная) родительского дома?

– Значит, если мне когда-нибудь надоеет жить в собственном доме, где строители то и се просрали, я смогу переселиться к вам? – спросил я.

В ответ моя дочь уперлась руками в худенькие бедра, точная копия своей мамы в той же позе, ничего не скажешь, и заявила:

– Ох, папа, не пидай кипятком. Ты прекрасно знаешь, о чем я.

Не пидай кипятком?

– Кроме того, – с усмешкой добавила она, – дома не идентичны. В нашем мы обустроим бассейн и джакузи.

Но не обустроили. Во всяком случае, пока. Решили потерпеть с роскошью до лучших времен. Лили проинформировала меня об этом, подчеркивая, что волноваться не о чем, Рассел и Джули более разумны, чем я осмеливался поверить (дом выносим за скобки).

Но когда я, подковыляв к почтовому ящику, окинул взглядом эту постройку, следы отчаяния виднелись повсюду. Проблема отнюдь не сводилась к осевшей груде земли возле наполовину вырытой ямы. О том, что молодые люди перерасходовали и деньги, и терпение банка, свидетельствовало всё. Извилистая подъездная дорожка так и не замощена, участок не выровнен, на окнах нет жалюзи. Над отверстием для дымохода полощется, словно флаг, кусок ярко-

голубого брезента. У меня мурашки побежали по коже, а оттого, что их дом так походил на наш с Лили, страх имел отчетливо эгоистический оттенок. Две мысли быстро сменяли друг друга, вторая настигла меня прежде, чем я успел отделаться от первой. Сначала: господи, они это не вытянут. А потом: в некотором символическом смысле я смотрю не на их дом, а на мой собственный, и теперь догадываюсь, о чем Тедди спросил мою жену, когда я глядел на них в кухонное окно. Все ли со мной будет в порядке, вот о чем он спрашивал ее. Во всяком случае, я думаю, что именно об этом.

Машина, следовавшая за мной по пологому склону вверх на холм, на гребне наконец-то меня догнала. Я рысцой свернул на подъездную дорожку к дому дочери, пропуская автомобиль. Но водитель затормозил, комически, на мой взгляд, озабоченный моей безопасностью. Когда машина остановилась и замигала фарами, я сообразил, что это Джули сгоняет меня с дороги, – посигналила, замахала рукой, приглашая следовать за ней к крыльцу. Навещать ее и Рассела вовсе не входило в мои планы, однако раз попался, приходится делать, как велено. К тому же я превысил темп, когда бежал, так что отдохнуть перед обратной дорогой будет нелишним.

– Поглядела я на тебя – до вершины ты вряд ли доберешься, – заявила моя дочь, когда я подтрусил к ней. Она достала из багажника небольшую сумку с продуктами, сунула ее мне и захлопнула крышку.

– Мне летом стукнет пятьдесят, – пропыхтел я. – В один прекрасный день ты найдешь меня распростертым на обочине.

Обычно Джули пресекает мои потуги на черный юмор, но тут она увидела мой нос и ахнула:

– Господи, папа!

Повадки этой девицы мне хорошо известны, поэтому, когда она вытянула тоненький указательный пальчик, чтобы тщательно заточенным и ярко накрашенным ногтем ткнуть в лилово-красную ноздрю, которая от бега, как мне казалось, еще дальше сдвинулась к периферии моего зрения, я успел перехватить изящное запястье. Ток крови ускорился от бега, ноздрю дергало в такт с биением пульса, и даже легчайшее прикосновение таило в себе угрозу.

– Не надо, – взмолился я.

Она пообещала не трогать нос, но велела повернуться, чтобы лампа на крыльце осветила мои увечья, и подалась вперед, внимательно их изучая.

– Жуть! – таков был ее вердикт, и я физически ощутил, как ей нейдет поколупать мою рану хотя бы мизинчиком – тоже с длинным ногтем.

– И почему человека так и тянет потрогать что-то мерзкое? – вслух удивилась она.

В самом деле, почему? Что бы сказал по этому поводу Уильям Оккам? Наверняка существует какое-то простое объяснение.

– Где Рассел? – спросил я, чтобы сменить тему. Хотя зять мне нравится, нынче я бы предпочел не застать его дома.

Джули забрала у меня сумку с продуктами и поставила ее на кухонный стол.

– Где-то здесь.

Она выкрикнула его имя. Донесся еле слышный ответ.

– Наверху, – определила Джули.

– Снаружи, – уточнил я. – На задней веранде.

Звук в их доме распространяется так же, как в нашем, несмотря на просранные мелочи. Я знал, что Рассел на веранде, за домом. Чего я не знал, так это что он там делает, – слишком холодно, чтобы расслабляться на веранде.

– Иди сюда! – донесся еле слышный голос Рассела.

Мне вдруг понадобилось в туалет – внезапно, безотлагательно. Примерно десятый раз за день, и при мысли о том, что это может означать, меня прошиб холодный пот. Нет, сказал я себе. Даже не думай в эту сторону.

Мы вышли на заднюю веранду, где Рассел стоял на нижней ступеньке стремянки, прислоненной к карнизу. В одной руке он держал фонарь, направляя его луч на довольно впечатляющее осиное гнездо. Несколько теплых дней на этой неделе – и пожалуйста. В другой руке Рассел держал огромный баллон «Рейда». Судя по виду моего зятя, он уже довольно долго простоял в этой позе.

– Как думаешь, они спят? – спросил он.

Думаю я, что этому человеку не следовало обзаводиться домом. Моя дочь, разглядев осиное гнездо, попятилась к раздвижной двери, явно собираясь улизнуть.

– Не знаю, спят ли осы вообще, – ответил я.

Луч фонарика нащупал меня. Очевидно, пока я не заговорил, Рассел не замечал, что его жена тут не одна.

– Хэнк! – воскликнул он, так обрадовавшись моему появлению, словно обрел во мне союзника.

– Привет, Рассел.

– Господи, что случилось с твоим носом?

– Оса укусила.

– Правда?

– Неужели я стану тебя обманывать, Рассел?

Ответ на этот риторический вопрос, разумеется, «да», но Рассел слишком долго проторчал под осиным гнездом, собираясь с духом, чтобы его опрыскать, страхась нападения, а тут такая страсть с моим носом – запросто оса могла цапнуть.

– У нас дома они тоже всегда устраивают гнездо в этом месте, – заверил я его. – Я специально зашел тебя предупредить. Наверное, и осы у нас одинаковые.

Рассел опустил фонарь, но я видел, что он купился.

– Лишь бы носы у нас не сделались одинаковыми, – вздохнул он. – Уродливее твоего никогда не видал.

Луч фонаря вернулся ко мне для дополнительного осмотра. На этот раз я приподнял руку, отгораживаясь от бьющего в глаза света и от любопытного зятя.

– Будь у меня такой мощный фонарь, я бы тоже сумел разглядеть в тебе какое-нибудь уродство.

– Джули! Подержи фонарь, а я их опрыскаю.

– Ищи дурака, – сказала Джули.

Я подошел, взял фонарь, направил свет на гнездо.

– Готов? – спросил Рассел. Голос угрюмый, полный решимости и страха.

– Ты не бывал на войне, верно? – вопросом на вопрос ответил я.

– Так и ты не бывал, – парировал он. – Во Вьетнаме ты служил писарем.

Не совсем точно. Я служил писарем *во время* Вьетнама.

– Я каждый год читаю со студентами «Алый знак доблести», – сказал я. – Опрыскивай гадов – и пошли в дом.

Рассел поливал серый, словно бумажный, конус, пока тот не заблестел и с него не закапали излишки спрея. Внутри никакого движения. Я заподозрил, что мы воюем с прошлогодним гнездом.

– Так бы я хотел умереть, – заявил удовлетворенный своей работой Рассел.

– Задохнуться от инсектицидов? – удивился я.

– Не-а. Во сне.

– Учитывая, сколько ты спишь, шансы неплохие, – сказала Джули.

Мы вернулись в кухню – единственное во всем доме полностью меблированное помещение. Спасибо и на том, что дочь с зятем не стали копировать внутреннюю обстановку нашего жилища. Возможно, в этом вопросе мы как раз что-то просрали. Или у Джули включается

собственное воображение, когда дело касается столов, стульев, диванов. У нас кухня-остров, а они поставили недорогой стол из дерева и стекла со сложным геометрическим узором – сразу и не поймешь, удалось вытереть с него капли овсянки или нет.

Рассел присел к столу, Джули занялась кофе, а я наведалься в их ванную и замер перед унитазом, словно средневековый пилигрим. Несколько минут назад мне казалось, что я раздуваюсь, вот-вот лопну, а теперь эти внутренние ощущения опровергались тем, что вернее всего назвать слабой и тонкой струйкой. У меня камень, вот чего я опасаюсь. Отца камни преследуют всю его взрослую жизнь, началось раньше, чем у меня, когда ему было тридцать с небольшим. Терзали они и отца моего отца, а мой прадед умер от заражения крови, когда камень размером с манго перекрыл его уретру и запертая моча чуть ли не из глаз у него сочилась. Я давно откладываю обследование в надежде, что обойдусь и без. А теперь придется поехать в больницу, сделать рентген, выслушать диагноз, получить направление на операцию.

Не столько скальпель хирурга страшит меня, сколько сам этот комический недуг. Коллеги сочтут, что это в моем духе: обзавестись болезнью, как нельзя более пригодной для шуток. «И это пройдет, – будут они твердить, – пройдет и выйдет». После сегодняшнего увечья я твердо намерен хранить свой камень в секрете и как-то продержаться до конца семестра. А когда все разъедутся, тогда и разберусь с ним. Может, удастся сделать операцию в Нью-Хейвене, где живет наша дочь Карен. Или операция вовсе не понадобится – в большом городе найдутся и другие методы. Я где-то читал, что появилась совершенно новая технология, камни дробят направленным ультразвуковым лучом.

Жалкая струйка иссякла, давление на мочевой пузырь слегка ослабло. Страхнув последние капли, я вернулся в кухню, к изысканному обществу дочери и зятя.

Сев за стол, я ощутил грозовые разряды в атмосфере. Джули и Рассел переговаривались приглушенными голосами. Шрам под глазом у Джули – много лет назад она перелетела через руль первого своего велосипеда – полыхал, и на меня обрушились грусть и вина, чувства не справившегося со своими обязанностями родителя. Шрам совсем маленький, метка в уголке глаза, напоминание о том, что в жизни случаются вещи намного хуже. Когда моя девочка счастлива, шрам исчезает. Но гнев, разочарование или усталость тянут уголок глаза вниз, и в такие моменты – вот и сейчас – Джули выглядит злобной. Будь с нами Лили, она бы сумела нежно дотронуться пальцем до шрама – такой сигнал она подавала Джули из года в год: улыбнись, усилием воли стань снова красивой.

Если во время моего отсутствия были сказаны какие-то обидные слова, их произнесла Джули, а не Рассел. Это было ясно по его лицу. Теперь, когда я мог повнимательнее рассмотреть Рассела, он показался мне погрубевшим. Он всегда был в форме, фигура подтянутая, хотя никаким спортом не занимался. Но за месяц-другой с тех пор, как он остался без работы, Рассел набрал фунтов десять. И он слегка растрепан. Стрижется он обычно коротко, модно, волосы укладывает гелем. Если застать его в тот момент, когда они с Джули намылились куда-то пойти, волосы у него будто мокрые. Под конец вечера они приобретают более человеческий вид и Рассел начинает смахивать на Тома Сойера. Сейчас же волосы отросли и висели безжизненными космами. Только тут я спохватился: хотя мы живем так близко друг от друга, я уже месяц не видел ни Джули, ни Рассела. Лили извещала меня об их новостях точно так же, как о событиях в жизни другой нашей дочери, Карен, которая благоразумно живет в Нью-Хейвене в квартире на третьем этаже, и эта квартира не имеет ничего общего с домом ее родителей.

– Давненько я от вас новостей не слышал, – сказал я Расселу. – Что нового?

– Ну, Хэнк, – вздохнул Рассел, – мы должны вам слишком много денег, чтобы наслаждаться задушевыми разговорами.

Что было на это сказать? Тем более что я даже не знал толком, сколько именно мы им одолжили. Наверное, правильное всего было бы ответить «не переживайте об этом», но мне

бы не хотелось, чтобы меня поймали на слове, особенно если моя жена проявила еще большую щедрость, чем мне известно.

– Выплаты по ипотеке растут, – сказала Джули. – Сбережения тают. Доходы падают.

– Как и настроение одной избалованной молодой женщины, – проворчал Рассел, глядя через мое плечо на Джули, собирающую чашки и блюда. – Извини, Хэнк. Это прозвучало так, будто я критикую твой метод воспитания, да?

– Ничего подобного, – возразил я. – Девочек воспитывала Лили. Я преподавал «Алый знак доблести».

– Хотя заслужила этот знак мама, – сказала Джули, разливая кофе в причудливые чашки, я впервые их видел. – Менструация – вот подлинный алый знак доблести.

Мы с Расселом обменялись взглядами. Из трех феминисток в семье Деверо Джули всегда была наименее глубокомыслящей, зато наиболее откровенной.

– Наверное, мне следовало повнимательнее отнестись к этому, – покаялся я. Нет, я не шовинист, но могу играть эту роль.

Джули тоже присела к столу, насыпала себе в кофе три ложки сахара.

– Поздно, папочка. – Она погладила меня по руке. Лучше бы Рассела погладила, таким вот жестом «я же просто над тобой подшучиваю».

Заметив, как Джули приласкала меня, Рассел отвернулся.

С минуту мы молча пили кофе. Я наконец перестал потеть после пробежки, и нос уже не так пульсировал. Несмотря на эмоциональное напряжение, царившее в кухне, все же я чувствовал себя здесь как дома – возможно, потому, что все здесь походило на наш дом, Лили и мой. Вот кого здесь недостает – Лили, понял я. Будь она тут, рассеялись бы грозовые разряды, порожденные нехваткой финансов у Джули и Рассела. Какая-то у нее природная способность смягчать, внушать уверенность, что совсем уж плохо дела обернуться не могут – по крайней мере, не в ее присутствии. Даже в детстве Карен и Джули переставали при ней ссориться, словно знали, что эмоциональное равновесие их матери необходимо для всеобщего блага. Говорят, точно так же Лили действует на своих отстающих учеников, на эти «дубы». Та еще компания, многие из них попадают за решетку и оттуда пишут Лили извинения: «Воткнув нож в Стэнли, я вовсе не хотел проявить неуважение к вам и к тому, чему вы пытались нас научить, как жить правильно. Понимаю, вы во мне разочарованы, ведь и я то же самое». Лили – такой человек, что лишается сна, прочтя какую-нибудь двусмысленность, вроде только что приведенного предложения, и ее ребята понимают вроде бы и это – даже те из них, кто не сумел бы найти слово «двусмысленность» в словаре, хоть посули им за это бесплатную поездку на Багамы.

– И как же ты заполучил такой нос? – спросил наконец Рассел.

Зная, что правда прозвучит еще более абсурдно, чем предшествовавшая ей ложь про укус осы, я все же ответил:

– Это сделал со мной поэт. – И невольно ухмыльнулся, отметив, что таки признал Грэйси поэтом.

– Злобный какой поэт, – сказал Рассел.

– Вообще-то обычный. Поэты всегда злобненькие.

– В отличие от писателей, – сказала Джули и на этот раз действительно застала меня врасплох.

Единственный мой роман вышел в год ее рождения, и хотя мы никогда ей этого не говорили, вполне возможно, что Джули была зачата, когда мы праздновали известие, что мою рукопись приняло издательство. Преувеличивает ли моя дочь, наделяя меня писательским статусом, как я только что наделил статусом поэта Грэйси, или же она в самом деле и после двадцатилетнего молчания верит в меня? Может, она засчитывает мне и колонку? Не видит особой разницы между ней и романами? По правде говоря, я уже редко именую себя писателем

даже мысленно, хотя все время что-то пишу – рецензии на книги и фильмы для «Зеркала Рэй-лтона», очерки из серии «Душа университета». Но я не опубликовал и даже не написал хотя бы рассказ за долгие годы после выхода романа, встреченного до смешного восторженной рецензией в «Таймс» (позднее выяснилось, что она была инспирирована моим отцом, который водил дружбу с издателем) и канувшего затем в ту безымянную могилу, куда отправляются книги, не сумевшие поднять заметную рябь в литературной заводи. И кажется, не я один перестал воспринимать самого себя как писателя. На Рождество я впервые с выхода «На обочине» так и не дождался поздравления от моего литературного агента Венди, хотя, возможно, я лишился ее благосклонности из-за глупого письма, отправленного в прошлом году. Венди проинформировала всех клиентов, что в связи с возросшими расходами на ведение дел в Нью-Йорке она впредь будет брать не 10, а 15 процентов комиссионных. Наверное, не увидела юмора в моем саркастическом отказе платить ей дополнительные пять процентов от нуля. Неужели я сам себе так подстроил, задумался я, что люди, которые меня знают, отказываются принимать меня всерьез, а у почти незнакомых мои иронические выпады вызывают серьезный, жесткий отпор?

Неважно, сам факт, что дочь по-прежнему считает меня писателем, ободряет, хотя опять-таки свидетельствует о ее незнании жизни.

– Теннисные корты почти просохли, – сказала Джули.

Летом мы с ней играем в теннис – азартно и неуступчиво – вплоть до глубокой осени, пока позволяет погода. На стороне моей дочери возраст и талант, и она великолепно отбивает, держа ракетку обеими руками, так что легко могла бы меня разгромить, если бы только не отвлекалась, – а на меня она отвлекается. Одно из моих преимуществ в этой игре – единственное, если верить Джули – владение отвлекающими приемами. Она терпеть не может разговоры во время игры, вот я и изобретаю различные темы для обсуждения. Знай болтаю, пока Джули не завизжит: «Заткнись, черт побери!» – это значит, что ее терпение на исходе, и тут уж мне достаточно просто играть. Наши поединки озадачивают Рассела, он слишком славный парень, чтобы понять суть спорта или соревнования, и слишком бестолковый, чтобы усвоить инструкции. Когда он начал всерьез ухаживать за Джули и вздумал произвести хорошее впечатление на меня, он предложил мне сыграть в баскетбол один на один. Состязание вышло настолько односторонним, что обе зрительницы, Лили и Джули, после матча набросились на меня.

– Тебе непременно нужно было его унижить? – возмущалась Лили.

– Я вовсе этого не хотел, – оправдывался я. – Наоборот, старался поддержать игру.

– Хоть бы один мяч позволил ему забросить, – хмурилась Лили. – Один мяч. Что, небо рухнуло бы?

– Он же все время перебрасывал мяч через щит, – напомнил я. – Четыре раза мне пришлось лазить на крышу.

– Ты бы еще через его голову мяч в корзину вколотил, – сказала моя жена.

– Такая возможность не раз представлялась.

Тут Рассел вступил в разговор – и заступился за меня.

– Хэнк прав, – вздохнул он. – Я никудышный игрок. Из рук вон. Совсем никуда. Зря я попросил тебя сыграть.

– Выберем другой вид спорта, где мы на равных, – предложил я.

– Вряд ли, – кротко улыбнулся он. – Баскетбол мне давался лучше, чем все остальное. Это была наша первая и последняя игра.

– Берегись, этим летом твой отец снова будет в форме! – предупредил я Джули. – Связки зажили, я уже по две мили в день пробегаю.

– Почему вы с мамой никогда не бегаете вместе? – спросила дочь таким серьезным тоном, что на миг я растерялся. Все слова я отчетливо разобрал, но ее тон предполагал какой-то иной вопрос, что-то вроде «Почему вы с мамой спите в разных комнатах?». Тонко настроенный радар моей дочери уловил какую-то фигню. В отличие от своей сестры, Джули никогда не могла

похвастаться последовательным мышлением, но с малолетства была способна к ледящим прорывам интуиции.

Или, может, она просто хочет знать, почему Лили и я не бегаем вместе. Подобное объяснение устроило бы Уильяма Оккама, и мне следует довольствоваться им.

– Ей не подходит мой темп, – ответил я, допивая кофе и толчком отправляя фарфоровую чашку вместе с блюдцем на середину стола.

Рассел снова расплылся в улыбке:

– Ты для нее слишком медленный или слишком проворный?

– Не говорит, – улыбнулся и я.

– Ты должен знать такие вещи, – сказала Джули. – Должен проявлять внимание к своей жене.

Возможно, я ошибаюсь, но мне показалось, что эта реплика адресована более Расселу, чем мне, и, судя по выражению его лица, он тоже так это воспринял. Вновь повисло молчание, и когда зазвонил телефон и Джули отошла снять трубку, я даже приободрился, но тут услышал: «Да, он здесь. Хочешь с ним поговорить?» Пауза. Видимо, не хочет. Джули слушала, и ее лицо становилось все мрачнее. «Я скажу ему», – пообещала она и повесила трубку. Рассел приподнял бровь, выражая мне сочувствие. Он еще молод, но уже достаточно долго женат, чтобы чутя неприятности.

– Возвращайся домой, – велела Джули. – Мама говорит, тебе дозванивается мистер Квигли. Говорит, ты знаешь, что это значит.

Увы, знаю, и если Билли Квигли рвется поговорить со мной, это само по себе достаточная причина оставаться там, где я сейчас сижу.

– Мама говорит, он ей не верит, что ты не дома.

Я встал, отодвинув стул.

– Когда Билли дома, по его понятиям, все должны быть дома, – сказал я, несколько упрощая логику моего пьющего коллеги. Беда в том, что Билли достаточно умен, чтобы понимать, как бы я хотел увильнуть от разговора с ним, но слишком пьян, чтобы припомнить, что я всегда отвечаю на его звонки, хочу я того или нет.

– Я тебя подвезу, – вызвался Рассел.

– Не надо. – Джули покачала связкой ключей на мизинце. – У тебя трудный был день. Отдыхай.

Рассел выдержал эту парфянскую стрелу как мужчина, даже не поморщился. Поморщился за него я.

– Хэнк, – сказал он, оставшись сидеть, – гляди в оба.

Опасность повсюду, вот что он хотел сказать.

Мы поехали на «эскорте» Джули.

Я готов был нарушить одно из немногих простых правил, по которым живу, и спросить, все ли у них с Расселом хорошо, но она меня опередила:

– Что это за собеседование у мамы в Филадельфии?

– Не то чтобы она всерьез к этому присматривалась, – начал я. – Но в следующем году директор ее школы уходит на пенсию. Школьный совет мог бы прояснить, кого они видят преемником, если на членов совета слегка надавить.

– А если не прояснят? Она согласится на ту, другую работу?

– Мне кажется, ты не тому человеку задаешь вопрос.

Мы остановились на перекрестке у пресвитерианской церкви. Шпиль вознесся высоко, окружающие деревья голы, и недостает лишь снега, чтобы вышла литография Курьера и Айвса. Джули смотрела на эту картину, будто ее не видя.

Мы застряли на распутье – буквально, – словно мы оба вдруг перестали ориентироваться. Если бы сзади подъехала машина, водитель решил бы, что мы ошиблись на предыдущем пово-

роте и теперь либо склонились над картой, либо сверяемся со звездами. Твердь небесная полна ими, весело подмигивающими, намекающими, что дорог перед нами – мириады, в то время как на земле перед нами было всего три дороги, две из них неверные (и мы знали какие).

– А что будешь делать ты? Уйдешь из университета? – Не дождавшись мгновенного ответа, она добавила: – На этот раз я тому человеку задаю вопрос?

– Нет, его тоже следует задать твоей матери.

И тут Джули застала меня врасплох. Не говоря ни слова, моя дочь стиснула ладошку в кулак, развернулась на сиденье и со всей силы врезала мне в левый бицепс. Нет, оказывается, это еще не со всей силы – второй удар был сильнее, настолько, что я вынужден был перехватить ее руку у запястья, прежде чем огрести в третий раз.

– Гады! – завизжала она. – Вы решили развестись!

– Что ты несешь, Джули?

Она уставилась на меня так, словно многолетний опыт подсказывал: мне доверять нельзя. Я отпустил ее руку, демонстрируя, что я-то ей доверяю, и она ударила меня снова, хотя уже не так больно.

– Ты должен объяснить мне, что происходит.

– Понятия не имею, – честно признался я. – Ты говорила с сестрой?

Едва задав этот вопрос, я убедился, что угадал верно. Карен в целом девочка достаточно разумная, но почему-то всегда пребывает в уверенности, что ее родители вот-вот разведутся. Когда она училась в старших классах, родители нескольких ее близких друзей прошли через жестокий развод, травмировав собственных детей, и Карен тоже была потрясена, осознав, что подобное может случиться и с ее родителями. С тех пор она все время напряженно следила за опасными симптомами, и почти все, что она видела, от легкого препирательства до вполне благожелательной беседы, которую не понимала или к которой присоединялась с опозданием, Карен трактовала как знамение надвигающегося распада семьи. И разумеется, будучи старшей, Карен и Джули втянула в свои переживания.

– Мама всегда рассказывает ей то, чем со мной не делится, – пожаловалась Джули. – Меня это вымораживает.

– Что же она рассказала Карен? – Я действительно хотел бы это знать.

– Карен не говорит. И это меня тоже вымораживает. Как будто у них закрытый клуб и мне туда хода нет.

– Ты выдумываешь всякое. И твоя сестра тоже. Все у нас с твоей мамой в порядке.

Она обожгла меня взглядом:

– Откуда тебе знать? Ты никогда не замечаешь, если маме плохо, если она грустит.

– Когда это она грустит?

– Вот видишь.

Сзади подъехал автомобиль, водитель ждал, пока мы тронемся.

– Просто я... я, наверное, не переживу, если вы разведетесь именно сейчас, понимаешь? – пробормотала Джули.

Не знаю, очень ли дурно с моей стороны сожалеть, что у моего отпрыска полностью отсутствует чувство юмора? Либо рядом со мной сидит подмесь, либо в моих генах где-то на молекулярном уровне случилась поломка. Не может же дочь Уильяма Генри Деверо Младшего произносить такие фразы на полном серьезе? Будь с нами в машине Лили, она бы сказала, как мило, что наша дочь так переживает за брак своих родителей и старается его спасти, но я сомневался.

Машина сзади посигналила, Джули опустила окно, высунула свою прелестную головку и заорала:

– Отвали нахер!

К моему изумлению, машина сделала полный разворот и двинулась обратно, откуда приехала.

– Послушай, – сказал я, – если вам с Расселом нужны деньги...

Моя дочь уставилась на меня, будто ушам своим не веря:

– Разве мы говорим о деньгах?

– Я и сам не пойму, о чем мы говорим, – сознался я. – Твоя мама едет на собеседование в Филадельфию. Там она повидает твоего деда, выяснит, как он поживает. В понедельник вернется. Окей? Никаких тайн тут нет. Ты в курсе всего.

Джули пристально всматривалась в меня. Мы так и торчали на перекрестке. Наконец она завела мотор.

– Сомневаюсь, что я в курсе всего. – Нехотя, в пол-лица, она одарила старика-отца улыбкой. – Разве что настолько же в курсе, насколько и ты.

Глава 4

Телефон звонил, когда я вошел в дом, и я успел взять трубку.

– Привет, долбодятел! – Я сразу же узнал голос Билли Квигли. – Я знал, что ты тут.

– Я только что вернулся.

– Чушь собачья!

– Сколько ты выпил, Билли?

– Предостаточно. И это не твое дело.

Билли Квигли регулярно звонит мне, извещает о моих преступлениях, оскорбляет, затем просит прощения, которое я всегда ему дарую, поскольку люблю Билли и не виню за склонность допиваться до милосердного забвения. Ему пятьдесят семь, он вымотан вусмерть, и восемь лет, которые еще надо отработать, прежде чем он сможет уйти на пенсию, должно быть, кажутся ему вечностью. Ирландец, католик, он протащил десятерых детей через частные приходские школы и дорогущие католические колледжи за счет преподавания в летних школах и дополнительной нагрузки в семестрах. Вместе с женой, уроженкой здешних мест, с которой он обвенчался в юности, он так и живет в убогом домишке, приобретенном тридцать лет назад, до того, как этот район испортился. Ипотека составляет всего сто пятьдесят долларов в месяц, а остаток жалованья уходит на выплату гигантских образовательных кредитов. Младшенькая, Коллин, заканчивает католическую школу «Елеонская гора» в Рэйлтоне и только что получила стипендию для изучения музыки в Нотр-Даме⁵, – стипендия покрывает часть расходов, остальное Билли возьмет на себя.

– Я слыхал, Грэйси нынче начистила тебе умывальник, – сказал Билли с явной надеждой, что это правда, что дошедший до него слух не преувеличивает.

– Еще как, Билли! – порадовал я его. – А тебе кто сказал?

– Не твое дело, шкура продажная, чертов сукин сын! Ты всех нас продашь за пятак, проклятый Иуда, дятел тупой!

Так вот зачем он позвонил. Упорные слухи о готовящихся чистках пугают Билли до усрачки. Он позвонил, чтобы услышать от меня обещания, которым все равно бы не поверил, даже если бы я их дал, и в любом случае я решил их не давать.

– Не за пятак, Билли. Наша кафедра стоит полтинник, а я добиваюсь всегда лучшей цены.

Такова моя тактика в разговорах с Билли: подыгрывать и ждать, пока он опомнится. Лили утверждает, что моя склонность перелицовывать обвинения Билли в комические реплики опять-таки свидетельствует о несерьезном отношении ко всему на свете. Но ведь мои шуточки часто действуют на Билли благотворно. Да и на большинство людей, за исключением Пола Рурка, – он гордится тем, что ни одно мое слово, ни один поступок ни разу не вызвали у него улыбку, и клянется, что не вызовут и впредь. А у Билли, как у всех нормальных людей, ресурсы злобы ограничены и обычно довольно быстро исчерпываются.

– Небось ты внес мое имя в этот список. Самым первым. И не говори мне, будто списка нет, я все равно тебе не поверю.

– В список на премию? Конечно, я его составил. В этом году ты получишь бонус.

– Отлично, мне он нужен. Я говорил тебе, что мою девочку взяли в Нотр-Дам?

Я ответил, что говорил, и еще раз поздравил его, прикидывая, в самом ли деле он уже прекленился.

– В Нотр-Дам нахрен! – повторил он со смаком. – Твоя младшая вовсе не побывала в университете, верно? Как, черт побери, ее звать?

⁵ Нотр-Дам – частный католический университет, расположен недалеко от Чикаго, входит в двадцатку лучших университетов США.

– Джули, – ответил я и не стал его поправлять, хотя на самом деле Джули поступала в несколько университетов. Ее зачисляли. Мы платили за первый семестр. Она вселялась в общежитие. Но в главном Билли прав: учиться она не училась.

– Профессорская дочка! – поддразнил он меня. – Разве так надо воспитывать детей, долбодятел?

Мне это поднадоело.

– Каждый старается как может, Билли, – вздохнул я. – Ты по себе это знаешь.

– Мог хотя бы отправить ее на учебу, – долдонил он. – Даже я это сумел, а я лишь жалкий пьяница.

Он явно сбавлял обороты. В беседах с Билли есть определенный ритм.

– И вовсе ты не жалкий пьяница, – сказал я. – Пить ты пьешь, но ты не пьяница.

На миг трубка затихла, какие-то заглушенные звуки доносились с того конца, и я сообразил, что Билли накрыл микрофон ладонью. Когда он наконец заговорил, в голосе его слышались слезы.

– Почему ты позволяешь мне так разговаривать с тобой? – требовательно спросил он. – Мог бы просто бросить трубку.

– Не знаю, – честно ответил я. – По правде говоря, на этот раз ты меня достал. Лучше бы не припутывал к разговору моих детей.

– Конечно, – согласился он. – Не следовало мне этого делать. Слишком далеко зашел, черт меня подери. Сам не знаю, что за язык дернуло. Иногда мне кажется, я вот-вот взорвусь. С тобой такое бывает?

Я сказал, что со мной такого не бывает, и действительно гнев – если Билли так описывает гнев – чуждая для меня эмоция. Это изводит Лили, выросшую среди раздоров. Ей снятся кошмары, в которых я смеюсь над ней, когда она пытается затеять ссору, и она упрекает меня за такое поведение, хотя я никогда не смеюсь над ней наяву.

– Потому что ты – долбодятел, вот почему, – подытожил Билли, уже с усмешкой. – Ладно, мне пора курсовые читать.

– Хорошо, – сказал я.

– Мне нужен дополнительный курс по сочинению следующей осенью. И летний семестр. И проследи, чтобы Мег получила свои два курса.

Еще одна дочь Билли. Моя любимица. Работает на кафедре в должности ассистента.

Я повторил то, что уже не раз говорил ему: что всячески постараюсь, что бюджет пока не утвержден, ни у одной кафедры нет бюджета, как это ни смешно.

– Ты бы не брал сверх обычной своей нагрузки, – посоветовал я, рискуя вновь обозлить Билли. – Что пользы, если ты откинешь копыта?

– Это лучшее, что может случиться, – сказал он. – Кредиты застрахованы. Случись что со мной – страховая их все погасит.

– Отличная стратегия, – похвалил я. – Иди поспи чуток.

– Пойду, – согласился он. – Та сука тебя не покалечила, а?

– Ни черта не покалечила.

– Ну, я рад. Доброй ночи, Хэнк.

– Доброй ночи, Билли.

Я повесил трубку. Оккам подкрался ко мне. Двигался он все еще на полусогнутых, как провинившийся. Я издал условный звук, означавший, что пес прощен. Терпеть не могу, когда кому-то, пусть даже собаке, внушают чувство вины. Одно из немногих правил в моей педагогической системе – не пробуждать и не закреплять у дочек чувство вины. Конечно, легко было играть доброго полицейского в браке с Лили, такой же католичкой по воспитанию, как Билли Квигли. Она переросла богословие, но не смогла отказаться от методики – тонкой смеси под-

купа, умения обвиновать и радикального бихевиоризма по Скиннеру. Эти стратегии жена пускала в ход против моей эмерсонианской теории самодостаточности – или полной анархии вместо воспитания, согласно определению Лили. Пожалуй, дочери выжили, поскольку бодро игнорировали и меня, и Лили, а не пытались свести воедино противоречивые родительские указания. Они, похоже, полностью отвергали наш опыт, как и предлагаемые нами списки чтения, не видя применимости к своему опыту ни «Алой буквы» (список Лили), ни «Бартлби»⁶ (главный герой, как и я, следует принципу Оккама). Хотя, на мой взгляд, тот или другой из этих двух сюжетов применим к любому опыту.

Я сообщил эту мысль Оккаму, который наклонил голову, чтобы я почесал его за ухом. Я давно подозреваю, что прежний владелец дурно обращался с ним в щенячестве, и Оккаму понадобилось много времени, чтобы избавиться от недоверия к людям. Лишь в последние месяцы он сделался игривым и жизнерадостным псом и настолько проникся верой в фундаментальную благодать жизни, что решается воткнуть свой длинный нос в пах незнакомцу, не опасаясь воздаяния.

– Какой сюжет применим к любому опыту? – Лили возникла в дверях.

Почти тридцать лет она вот так застигает меня врасплох. На этот раз – только что из душа, с мокрыми волосами и со стаканом бренди. Оккам вздрогнул и подозрительно оглянулся. Убедившись, что Лили не прихватила с собой свернутую газету, он снова прикрыл глаза и занялся главным делом – прислушиваться, как скребут ему уши.

– Я бы тебе ответил, – сказал я, – но ты же знаешь: мои беседы с Оккамом сугубо конфиденциальны.

– Мммм... – Она отпила бренди. Оглядела мою берлогу так, словно попала в комнату к незнакомцу. Давненько она сюда не заходила. Мой рабочий кабинет и мансарда Лили на третьем этаже по негласному договору между нами экстерриториальны. Она согласилась не прибираться тут, при условии, что дверь будет закрыта и хаос, который я порожаю, будет виден лишь мне одному, не распolzаясь по всему дому. Сейчас ей пришлось сдвинуть стопку книг и студенческих работ, чтобы сесть на мою выдавшую виды софу.

Лили предложила мне бренди, я отпил, и странная горечь вынудила меня предположить одно из двух: либо кто-то подменил дешевым пойлом то, что я покупал, либо горечь никак не связана с качеством напитка. Вот что я заподозрил: мне дали хлебнуть спиртного, чтобы подготовить к неприятному разговору, а когда бренди используют для такой цели, он отдает горечью лекарства, стоит пациенту угадать истину. Я поставил стакан на зачетную работу первокурсника, пронизательное социологическое эссе «Мой район», начинающееся словами: «Мой район уникален тем, что люди здесь очень приветливы», – примерно половина студентов сделали такое же наблюдение, и парадоксальным образом в совокупности их высказывания аннулировали друг друга.

– О чем ты говорила с Тедди? – спросил я.

– Когда? – Хотя вопрос Лили был вполне уместен, мне показалось, что она пытается увильнуть.

– Когда провожала его к машине.

Лили погрузтела.

– О тебе, – сказала она. – Тедди переживает за тебя.

– Не стоит, – буркнул я, не вполне понимая, что именно хочу сказать. На самом деле две мысли причудливо перемешались: «Нет причин переживать за меня» и «Не стоит ему нервы тратить».

⁶ «Алая буква» – роман американского классика Натаниэла Хоторна; «Писец Бартлби» – рассказ другого американского классика Германа Мелвилла.

– Он считает, ты губишь свою карьеру, отказываясь принимать всерьез эту историю с чистками. Он говорит, даже лучшие друзья готовы уже тебя удушить.

– Ты считаешь, я *должен* принять эти слухи всерьез?

Она отпила бренди, присмотрелась к мутной жидкости на дне.

– Помнишь Глэдис Кокс?

– Никогда о такой не слышал.

– Ты с ней общался как минимум десять раз.

– А, ты про *эту* Глэдис Фокс.

– Она работает в администрации ректора. И говорит, на этот раз правительство шутить не станет. Предстоят серьезные сокращения бюджета на высшее образование.

Я промолчал, но Лили спросила:

– Что означает этот твой взгляд?

Разумеется, я не мог ответить на этот вопрос, и не только потому, что нелогично просить мужчину объяснить выражение его лица, которое он сам не видит, – затруднился я выразить странный восторг, который ощутил при мысли, что слух может все-таки оказаться правдой. Мне припомнилось и то возбуждение, которое я подметил на лице Тедди, когда он затронул тему в своей «хонде». Неужто мы, двое мужчин средних лет, так изголодались хоть по чему-то *новому*?

– Значит, тебя не просили составить список?

– Глупости не спрашивай.

– Обещай, что не станешь его составлять.

– Тебе нужно мое слово?

Она обдумала вопрос. Обдумывала слишком долго, на мой вкус, но когда заговорила, голос ее звучал искренне.

– Нет. Да и Тедди не верит, чтобы ты взялся за список.

– Так он просто хотел узнать, думаешь ли ты, что я на это способен?

Настала ее очередь игнорировать мой вопрос.

– Билли в порядке?

Вроде бы тема сменилась, но в воздухе между нами висела подразумеваемая Лили – а возможно, и мной – взаимосвязь: от одного травмированного знакомого коллеги мы перешли к другому.

– Билли в порядке не бывает, – сказал я. – Наверное, сегодня ему не хуже обычного. Нервничает. Для него потерять работу – катастрофа.

– А для кого иначе?

Мне предложили глотнуть еще бренди, и я не стал отказываться. Вкус уже не такой горький, так что я отважился произнести:

– Джули что-то расстроена.

– Я знаю, – кивнула жена.

– Знаешь?

Она пожала плечами:

– Ты же не забыл, как туго нам приходилось, когда мы все время были на грани банкротства?

По правде говоря, забыл. То есть про бедность нашу помню, а вот чтобы так туго приходилось...

– Она очень жестко обращается с Расселом.

– Знаю. Мы тоже друг друга не щадили.

– Когда это?

Лили не сразу ответила.

– Для меня это было ужасно, денег ни на что не хватало. Ты воспринимал это спокойнее. Расстроился только однажды, когда пришлось просить займы у твоего отца.

– Когда это было? – повторил я. Неприятное воспоминание шлохнулось, но привязать его к дате не получалось.

– Когда мы переезжали сюда. Аванс за книгу запаздывал. Мы боялись, что не сможем расплатиться с транспортной компанией. Твой отец перевел нам полторы тысячи, чтобы мы смогли вывезти вещи.

Вроде я начал припоминать:

– Но аванс пришел как раз перед нашим отъездом из Индианы. Мы вернули ему чек, не обналичивая.

– И задела его чувства.

– Чьи чувства? – спросил я, Лили не ответила, и я продолжил: – С какой стати это должно было задеть его чувства?

– Ты ясно дал ему понять, что не обратился бы к нему, если бы не был в безвыходном положении.

– Но мы *были* в безвыходном положении.

– И после этого ты отправил ему чек экспресс-почтой, как будто не мог допустить, чтобы этот клочок бумаги провел ночь в твоём доме. Или как будто, вернув его так быстро, ты мог стереть сам факт, что отец послал тебе деньги.

– Не думаю, чтобы он так это истолковал, – возразил я.

И в самом деле, я так не думал. Но странная вещь: чаще всего мы ссоримся из-за наших отцов. Я упорно предпочитаю отца Лили, она – моего. Вот основной источник неугасающего спора.

– Он слишком поглощен собой, чтобы тратить свои чувства на других. Не веришь мне, спроси мою мать.

– Она звонила, пока тебя не было. Просила заглянуть к ней завтра до ее отъезда.

– Так и сделаю.

– Ты не мне, ты ей это скажи.

– Ладно, – сказал я, сдаваясь. – Кстати, Джули говорит, я не замечаю, когда ты грустишь. Ты правда грустишь?

– Изредка.

– Когда?

Она поднялась и подошла ко мне, поцеловала меня в лоб. Ворот халата распахнулся, я увидел, что на Лили нет белья, и мне пришло в голову, что этот поцелуй, этот соблазнительный вид, густой, дурманящий аромат пены для ванны, который мне удалось учуять, – все это, возможно, не что иное как приглашение. Когда мужчина вроде Уильяма Генри Деверо Младшего спрашивает свою жену, бывает ли ей грустно, именно такое приглашение он жаждет получить вместо ответа. Такие вещи случаются между мужем и женой, даже если они провели в браке без малого тридцать лет. Не вижу причины, почему бы этому не произойти между мной и моей женой нынче ночью.

– Я грущу, когда у меня месячные, как сейчас, – ответила она, сразу подсказав мне причину, почему этому не произойти, а потом, более серьезным тоном: – И мне грустно видеть тебя таким растерянным, Хэнк. – И провела пальцами по моим редющим волосам, остановившись на маленьком шраме, появившемся после столкновения с балкой гаража.

– Ой! – Я сделал вид, что это место еще очень чувствительно, что моя жена причинила мне боль, хотя ничего такого не было.

Странно, за миг до этой выходки я готов был уткнуться лицом в вырез халата, глубоко вдохнуть свежий аромат ее кожи, признаться, как бы мне хотелось, чтобы именно в эти выходные Лили не уезжала в Филадельфию. А вместо этого я вздумал притвориться, будто меня

ранит ее прикосновение, – прикосновение женщины, которая все эти годы так легко и с таким пониманием дотрагивалась до меня. Она выпрямилась, глянула на меня с разочарованием, словно в точности знала, какой выбор я только что сделал и почему. Если она действительно знала почему, то знала больше, чем я сам.

Миг спустя за Лили закрылась дверь и я остался наедине с Оккамом, который, наконец я учуял, чем-то вонял.

Глава 5

Наутро мы подрулили к Современным языкам и остановились возле моего старого бледно-голубого «линкольна», одинокого в дальнем углу парковки, как рухлядь, брошенная умирать. Да и я чувствовал себя не лучше. Глаза выпучены от недосыпа – накануне я долго читал, а когда наконец уснул, мне многократно виделось, как я скольжу задним ходом в своем «линкольне» с заснеженного взгорка Приятной улицы. К тому же вернулась простуда, которую я пытался скрыть от Лили, предсказавшей, что вечерняя пробежка этим и кончится. Я принял антиаллергическое, и нос начал подсыхать, но зато слегка кружилась голова. Перед выходом из дома я помочился, но мне уже нужно было опять. Мне многое хотелось бы сказать жене в момент расставания, и я подумывал, не признаться ли, что у меня, похоже, сформировался первый камень. Лили осталась бы дома, если бы я попросил, – а это значит, что я не посмею об этом попросить. Так что я сказал лишь:

– Выглядишь прекрасно. – Это была чистая правда. – Я бы тебя нанял.

– Спасибо, – ответила она, и в ее голосе прозвучала искренняя благодарность. Сама идея, что Лили едет на собеседование, вызывала у меня изумление. Проработав пятнадцать лет на постоянном контракте, я с трудом представлял себе, как это – вновь оказаться в ситуации, когда тебя оценивают.

– Передай от меня привет Анджело. И позвони, прежде чем поедешь к нему. Он способен пристрелить тебя у двери, если застанешь его врасплох.

С тех пор как отец Лили бросил пить, он пал жертвой паранойи, впервые, видимо, заметив, во что превратился его район.

– Я звонила ему пару раз вечером и утром снова, – ответила Лили. – Но все время натыкаюсь на автоответчик.

– Анджело обзавелся автоответчиком?

– Лишь бы не начал опять пить.

– Мне он больше нравился, когда пил, – сказал я, хотя и знал, что говорить этого не следует. – По крайней мере, он был счастлив.

– А еще он мочился кровью, Хэнк. Его алкоголизм – вовсе не повод для веселья.

– Его трезвенность тоже не повод, – сказал я.

Еще одна дурная реплика, а поскольку ссориться мне вовсе не хотелось, я вышел из машины, захлопнул дверь, подошел со стороны Лили. Она опустила окно, как я подумал, чтобы меня поцеловать, но оказалось – чтобы лучше ко мне присмотреться.

– Будь осторожен, хорошо? Я что-то тревожусь. Не могу предугадать, где застану тебя, когда вернусь, в больнице или в тюрьме.

Лили обожает оставлять на прощанье какое-нибудь пророчество.

– В тюрьме? – удивился я.

Наклонился поцеловать ее, и, перед тем как наши губы встретились, она спросила:

– Когда у тебя встреча с Дикки Поупом?

– Сегодня после обеда? Нет, завтра. – По правде говоря, я не помнил. – Инструкции?

– Будь самим собой. Будь тем мужчиной, за которого я вышла замуж.

Наши губы встретились.

– Так кем из двух? – спросил я. – Определись.

За ночь на двери корпуса современных языков появилось два объявления: одно – об ослином баскетболе, администрация против преподавателей, на следующей неделе, второе – об отмене запланированных на утро субботы учебных стрельб для резервистов. Причина? Патроны не подвезли. Эти два объявления наглядно демонстрировали, насколько университет

изменился с тех пор, как двадцать с лишним лет назад здесь появился молодой, бородатый, радикально настроенный преподаватель английской литературы Уильям Генри Деверо Младший. В ту пору такие объявления были немыслимы. Теперь трудно себе представить, чтобы кого-то они возмутили. ЦРУ вербует сотрудников прямо в кампусе; доценты и профессора седлают одетых в памперсы ослов и устраивают пародию на спортивную игру, на учреждения высшего образования, где предположительно царит интеллектуальная жизнь, и на самих себя – корабль их достоинства давно отчалил. Лично я предвкушал этот матч. Верхом на осле ни возраст не помеха, ни проблемы со скоростью. Да я хоть из жопы пулянуть мячом могу.

– Конечно, можешь, – раздался голос у меня за спиной.

Я обернулся и увидел Майка Лоу, мужа Грэйси, – я загоразивал ему дверь. Значит, так оно и есть: я разговариваю сам с собой и этого не замечаю.

– Симпатичный нос, – сказал Майк.

Лоу – сутулый, с всклокоченной бородой – самый угрюмый на вид обитатель нашего кампуса, а конкурс тут немалый. Мы смотрели друг на друга – двое смущенных мужчин среднего возраста, каждый подозревал, что должен извиниться перед собеседником. Глупо, если подумать. Майк не может отвечать за поведение женщины, с которой состоит в браке. И если я повздорил с Грэйси и довел ее до того, что она применила ко мне насилие, то извиняться мне следует перед ней, а не перед ее мужем. И все же вот мы стоим, охваченные общим – скукоженным – чувством. Впрочем, у мужчин нашего возраста почти все эмоции такие – скукоженные.

– Говорят, я сам напросился, – признал я.

– Мне сказали то же самое, – сообщил Майк. – На твоём месте я бы поостерегся. Мне кажется, она вышла на тропу войны.

Я кивнул. Мы пожали друг другу руки. С какой стати понадобилось пожимать друг другу руки – загадка и для меня, и для Майка Лоу.

– Загляни вечером, в бильярд сыграем, – пригласил он, как делает всегда при случайных встречах.

Последние пять лет Майк обустраивал подвал своего дома, установил там бильярдный стол, мишень для дротиков, музыкальный автомат с песнями пятидесятых годов и бар. Ходят слухи, что он постоянно держит в запасном холодильнике бочонок пива, и о его одиночестве можно судить по тому, что вопреки всем этим приманкам очень мало кто из коллег готов составить компанию этому страдающему от серьезной депрессии человеку.

– У меня теперь отдельный вход, – добавил он, еще одна грустная приманка. Я могу заглянуть к нему, не наткнувшись на его жену, вот что он хотел сказать. Да, мне *следовало бы* его навестить. Я же был шафером на его свадьбе – как давно? Пятнадцать лет прошло или больше? Теперь он именуется тот день Черной субботой.

– Как дела внизу? – спросил я. На этаже под кафедрой английского языка и литературы располагаются французский, испанский, немецкий, итальянский и классические языки.

– Чушь, вздор, злоба и всякая фигня, – ответил он. – Как и у вас.

– В Ватикане побывал? – спохватился я, вспомнив, что Майк возглавляет направление испанского языка. – Список составить велели?

Он покачал головой:

– На испанском нас всего трое. Я слышал, у Сергея была приватная встреча, но он все отрицает, хрен.

Сергей Браха – глава кафедры иностранных языков, которая состоит из одного-единственного отделения.

– А ты что думаешь?

– Я бы не удивился, – вздохнул он. – У Грэйси и сомнений нет. Может, она что-то знает, она лижет задницу Засранцу Дикки.

– Слава богу, ты и я чисты, – сказал я, придерживая дверь, чтобы он мог пройти.

– Только в итоге торчим перед закрытой дверью и разговариваем вслух, когда рядом никого нет.

В этот час коридор на этаже английского языка и литературы пуст, в кабинетах темно, нет никого, за исключением тех преподавателей, кому навязали пару в восемь утра, и Финни, который требует ставить его пары в восемь утра пять дней в неделю из семестра в семестр. Тедди и Джун видят в этом требовании еще один симптом глубокой извращенности Финни, но я знаю, что дело не в этом. Он во многих отношениях самый рациональный член нашего безумного оркестрика – по крайней мере, если согласиться с теми предпосылками, из которых он исходит. Забирая первые утренние и последние дневные пары, навязывая студентам обязательное посещение и посвящая первые три недели занятий разбору видов и подвидов определительных придаточных, Финни каждый семестр уполонививает свою нагрузку. На второй неделе студенты начинают дезертировать, и к концу семестра в семинаре остается семь-восемь человек из положенных двадцати трех. Таков, утверждает он, если ему предъявляют претензии, итог подлинных университетских стандартов, применяемых со всей справедливостью.

С десяти утра до четырех часов дня тянется долгий праздный день Финни. Обычно он проводит два часа за обедом в «Шератоне» на другом конце города, по слухам – в обществе одного-двух студентов мужского пола, которые ему пригласятся. Этот слух, как и все университетские слухи, вызывает у меня сомнения. С тех пор как Финни вернулся к лекарствам и гетеросексуальности, он поддерживает имидж традиционной ориентации, часто являясь на кафедральные мероприятия в сопровождении женщин, как будто это может стереть коллективное воспоминание о его двухнедельной карьере трансвестита.

Случилось это под конец войны во Вьетнаме. Возможно, как раз вывод войск из Вьетнама побудил Финни разорвать узы брака, и при этом он сделал умозаключение, что если может обойтись без жены, то, вполне вероятно, обойдется и без лекарств. В последнем пункте он явно заблуждался. В первый день без лекарств он сделался болтливым и добродушным, что само по себе пугало, не говоря уж о подведенных глазах и туши на ресницах. На следующий день, когда остатки химических средств вышли из его организма, Финни явился в полном оперении: черное шелковое платье, туфли на шпильках, жемчуга. По длинным коридорам корпуса современных языков разносилось его приветствие: «Добрый день всем, мои дорогие! Какой славный денек ниспослал нам Господь! Распахните окна!» Тедди, бывший тогда главой кафедры, заперся в кабинете, который ныне занимаю я, и отказался выходить. За исключением Тедди, Финни ухитрился зайти почти к каждому члену кафедры.

Свет не видел еще мужчины, одетого женщиной и преисполненного большей радости жизни, чем избавившийся от психотропных средств Финни.

– Надо выпустить на волю дракона! – объяснял он всем и каждому. – Выпустить, и точка. Пусть летит прочь и разоряет чужие королевства. Пусть летит *прочь*! – гремел он, покачиваясь на шатких каблуках, от восторга у него потекли слезы и потекла тушь.

– Убирайтесь из моего кабинета или я стяну с вас чулки и ими же вас удушю! – пригрозил Пол Рурк.

Джун Барнс ограничилась замечанием, что жемчуга до пяти вечера не надевают. И лишь Билли Квигли, прежде не выносивший Финни, вроде бы ему обрадовался. Он усадил его и щедро угостил содержимым своей фляги.

– Случалось мне пить с бабами и пострашнее тебя, – уведомил он коллегу и тут же уточнил: – Ну, ненамного страшнее.

Но свободе и счастью Финни был сужден недолгий срок. К тому времени, как последний моряк вскарабкался в вертолет, взлетающий с крыши американского посольства в Сайгоне, будущая бывшая жена уложила Финни в больницу, и его залечили обратно в мрачную гетеросексуальность и мужской костюм. После месячного отпуска по болезни он явился в корпус современных языков с полудюжиной новых упражнений для различения видов определитель-

ных придаточных и с тех пор не доставлял никаких хлопот, если не считать проблемой высокомерный непрофессионализм и выжигающую мозги скуку на занятиях.

Я остановился перед аудиторией и заглянул в маленькое окно в двери. Тихий и монотонный голос Финни не позволял разобрать, что он там талдычит. У его студентов мрачный вид обитателей концлагеря. За контрольную минуту шестеро из одиннадцати посмотрели на часы, четверо зевнули, один вздрогнул и пробудился от сна. Всего пятнадцать минут с начала пары. К тому моменту, как контрольная минута завершилась, кто-то из студентов заметил мое лицо в раме дверного окошка. Потом и другие заметили, но только не Финни. Некоторые студенты учатся также и у меня, и они принялись закатывать глаза и гримасничать, как бы призывая меня в свидетели: «Видите, что творится? Почему никто не принимает меры? Почему вы ничего не *делаете*?» Я ответно закатил глаза. Потому что потому.

Мне казалось, я смогу уйти потихоньку, но за спиной у меня отворилась дверь и послышались шаги.

– Это оскорбление, – прошипел Финни мне вслед.

Я обернулся к нему. Как всегда весной, восхитительный вид – белый костюм, розовый галстук, белые туфли.

– Финни! – сказал я. – *Que pasa?*⁷

Его загар сделался гуще от прилива крови.

– И это тоже, – возмутился он – в общем-то, справедливо.

В прошлом году Финни, некогда закончивший аспирантуру в Пенне, но так и не написавший диссертацию, сделался гордым обладателем степени доктора наук Американского университета Сонора – учреждения, функционирующего, как мы установили, исключительно в форме дипломов на фирменных бланках и почтового ящика в Дель-Рио, штат Техас. Когда-то там, если не ошибаюсь, обитал Вулфман Джек.

По чести, не следовало дразнить Финни. Знаю-знаю. Вчера я так же изводил Грэйси на собрании комиссии по кадрам, и закончилось это увечьем носа, который сейчас свербит, как больная совесть.

– Я знаю, ты не уважаешь ни меня, ни других коллег, – шипел Финни. – Но я не позволю высмеивать меня в присутствии студентов.

Я поднял руки в знак капитуляции:

– Финни...

– Держись подальше от моей аудитории, или я подам жалобу. Если понадобится, получу судебный ордер.

– Я веду занятия в той же аудитории, – сказал я (чистая правда). – Вряд ли суд может запретить мне вход в помещение, где я преподаю.

На миг он задумался.

– В те часы, когда я там, – уточнил он совершенно серьезно.

– А! Разумеется! Если так – ладно, – согласился я, как бы в восторге от того, что недоумение разрешилось. – Только один вопрос.

Он остановился у двери аудитории, пальцами сжимал ручку двери.

– Что еще?

– Как тебе удалось замыть кровь?

– Костюм, который ты имеешь в виду, находится по твоей милости в химчистке.

По моей милости?

– У тебя два одинаковых белых льняных костюма?

– Это запрещено законом?

– Разве что законом природы.

⁷ Как дела? (исп.)

– Будет лишь справедливо предупредить тебя, что часть вечера я провел в телефонных переговорах. Среди коллег складывается достаточно единодушное мнение, что нынешний заведующий кафедрой нас не устраивает.

Я не сдержал смехок.

– Напомни мне хоть один случай за последние двадцать лет, когда такое мнение не складывалось бы.

Рейчел, секретаря нашей кафедры, я застал перед компьютером. Как и Финни, она приходит на работу нарядной. В отличие от него, она не пользуется духами. Рейчел – одна из полудюжины университетских сотрудниц, в которых я мог бы влюбиться, если бы не следил за собой. По большей части это женщины в возрасте от тридцати с хвостиком до сорока с хвостиком в браке с недостойными их мужчинами. (Я оцениваю этих мужчин так же, как Тедди оценивает меня.) Муж Рейчел, с которым она недавно разъехалась, – чрезвычайно самодовольный местный житель, часто работающий на железной дороге и столь же часто увольняемый. Его внутреннее эмоциональное равновесие ничто не нарушает, разве что жена с собственными честолюбивыми устремлениями могла бы его поколебать, и вот невезуха: именно такой женой оказалась Рейчел, которая не только работает секретарем на кафедре и растит сына Джори, но еще все последние десять лет этого убогого брака втайне писала рассказы и собиралась с духом, чтобы показать их мне. В этом году я помогал ей редактировать, учил маленьким секретам ремесла. Кроме некоторых приемов, учить особо нечему, все необходимое – сердце, голос, зрение и ритм повествования – уже при ней, дар интуиции.

Прошлой осенью, взволнованная, обнадеженная моим откликом на новый рассказ, она допустила ошибку: передала мои слова мужу и предложила ему тоже прочесть рассказ. Это заняло у него почти весь вечер, отчитывалась она: сидел в своем кресле, продирался медленно от фразы к фразе, то и дело отрывался от текста и зыркал на нее. Закончив, он встал, почесался вдумчиво и сказал, что я пытаюсь заманить ее в постель. В сфере литературной критики он, похоже, придерживается минимализма.

Рейчел удивил мой ранний приход. Всего двадцать минут девятого, в ближайшие два часа меня тут не ждали. Официально Рейчел работает с полвосьмого до полчетвертого, потом едет забирать сына из школы. Я не думал, что она в самом деле приходит так рано, но, видимо, да, раз она уже здесь. Увидев мой нос, который со вчерашнего дня сделался еще страшнее, она заметно вздрогнула и, судя по ее испуганному взгляду, подумала, что история увечья наверняка еще ужаснее, чем оно само.

– Рейчел! – сказал я, наливая себе кофе. – Вы на работе.

Она молча смотрела на меня, и я понял, что именно такую реакцию я втайне надеялся вызвать у Лили, которая за годы совместной жизни научилась принимать все происходящее со мной с полной невозмутимостью. Нет причин, почему бы жене не относиться так к мужу, но все-таки это разочаровывает, особенно мужчину вроде меня – любителя мутить и возмущать.

– Засиделся вчера над хорошей книгой, – сказал я.

– Вот как? – спросила она.

Я видел, что ей хочется думать, будто я намекаю на ее напечатанные на машинке рассказы, которые она мне вручила пару недель назад, но и поверить в это не решается. В голосе – мучительная надежда.

– Давайте пообедаем вместе, – сказал я, – и я вам все расскажу.

Нет, я не пытался заманить Рейчел в постель, вопреки опасениям ее мужа-минималиста, но я в некотором смысле провел с ней вечер, так что обед станет платонической наградой.

– У вас обед с деканом? – сказала она, приподнимая напоказ розовый клейкий листок-напоминалку.

Почти все высказывания Рейчел звучат как вопрос. Неспособность понизить к концу фразы интонацию вызвана отчаянной неуверенностью в себе, недостатком самоуважения. Рейчел работает на кафедре вот уже почти пять лет и только недавно перестала отпрашиваться, чтобы сбежать в дамскую комнату и поплевать, когда кто-нибудь ей нагрубит. По словам Рейчел, теперь рвотный рефлекс вызывает у нее только Пол Рурк, и я стараюсь ее убедить, что это вполне естественно.

Я взял у нее записку, просмотрел скудную информацию. В левом верхнем углу проставлено время: семь тридцать.

– Что Джейкобу понадобилось спозаранку? – вслух удивился я. Если декан появляется в своем кабинете до полудня, ничего хорошего не жди. Я дружу с Джейкобом и знаю, что он платит за обед лишь в тех случаях, когда надо как-то смягчить скверные новости.

– Что-нибудь еще?

Рейчел неохотно передала мне еще две записки, словно предпочла бы меня пощадить, будь она вправе. Я забрал их с собой в кабинет, закрыл дверь. Первая записка от Грэйси: просит выделить ей время для встречи после обеда. Никаких извинений, ни сожаления о том, что она изувечила заведующего кафедрой. Вторая – от представителя профсоюза Герберта Шонберга, который неделями вымаливает аудиенцию, вероятно, чтобы обсудить мои недочеты в роли руководителя кафедры, – должность, на которую меня избрали именно благодаря тому, что отсутствие у меня административных талантов вошло в легенду.

Никто ни на миг не допускал и мысли, что я попытаюсь что-то сделать. Никому и во сне бы не привиделось, что я найду бланки, необходимые, чтобы сделать это что-то. Весь университет считает меня вопиющим профаном в оргвопросах. Отчасти это связано с тем, что двадцать лет я громко и публично повторяю: наши общие беды вызваны не столько политикой, сколько отсутствием воображения и доброй воли. Неспособность лавировать плюс извращенная склонность становиться порой на сторону врагов (этим я сильно огорчал Тедди, когда тот возглавлял кафедру, поскольку мой голос часто оказывался решающим), невнимание к интригам и махинациям, а также провалы в краткосрочной памяти сделали меня в глазах коллег идеальным компромиссным кандидатом на роль временного заведующего нашей безнадежно разделенной кафедрой. Много ли вреда могу я причинить за год?

Как выяснилось, могу изрядно, опираясь на Рейчел. Никто не предвидел, что может произойти, если к такому, как я, приставить компетентного секретаря, знающего, где эти бланки и как их заполнять, кому и в какой момент посылать. Падение Тедди, после шести лет руководства кафедрой, было вызвано злоупотреблением властью, чем все справедливо были возмущены, – и это несмотря на его постоянную приторную «дипломатию». Правила, четко прописанные в уставе кафедры, по сути своей (если соблюдать их буквально) эгалитарны и превращают руководителя в беспомощного посредника, если он окажется настолько глуп, что станет подчиняться уставу. Тедди, разумеется, вовсе не собирался подчиняться уставу, лишь делал вид, и сам факт, что это обнаружилось только через шесть лет, убедительно свидетельствует о его административных способностях, а также о том, как отчаянно Тедди желал сохранить эту должность, избавлявшую его от значительной части академической нагрузки.

И наоборот: поскольку я вовсе не желал эту должность, я не видел надобности действовать тайком. И пусть все думали, что даже года не хватит, чтобы перевернуть кафедру вверх тормашками, я им показал, что достаточно и двух семестров – при условии, что заведующий не слишком чувствителен к насмешкам, поношениям и угрозам. Кто мог предугадать, что я решусь подорвать те самые принципы эгалитарной демократии, которые держали нас всех в вечном нездоровом возбуждении вот уже больше десяти лет?

Ну, всякий, кто меня знает, мог бы это предугадать, но они не сумели. Вот уже на исходе академический год, в начале которого я принял бразды тиранической власти, но меня так и не удалось обуздать – несмотря на поток ядовитых посланий декану, главному администратору

кампуса и в студенческую газету, и это я еще не принимаю во внимание подметные письма, прилетающие ночью порой в кафедральный почтовый ящик, и неиссякаемый поток официальных посланий, многие из которых грозят судебными исками, если я сейчас же не прекращу то и не оставляю сё. В общем и целом, как говаривал Гек Финн, веселье что надо.

В приемной зазвонил телефон, и я с помощью переговорного устройства уведомил Рейчел, что я только что вышел, а чтобы не заставлять ее лгать, так и сделал. Нет у меня желания общаться в такую рань с кем бы то ни было.

В том числе с Билли Квигли, который отловил меня в коридоре, пока я искал ключ, чтобы запереть дверь кабинета. Билли направлялся в свой собственный кабинет, сидеть там до пары, начинающейся в девять. Вид у него был такой, словно до трех часов ночи он пил, а потом еще час-другой свистел в пустую бутылку.

– Тыходишь или выходишь? – осведомился Билли.

– Сам не знаю, – ответил я. – Пойдем выпьем кофе в студенческой столовой.

Он скривился. Кажется, идея пить кофе показалась ему оскорбительной.

– Я получу следующей осенью дополнительные часы или как?

– Сегодня я обедаю с деканом, – сказал я. – Кто знает? Может, выкроим бюджет.

– Да к дьяволу бюджет! – рявкнул Билли, искренне обозлившись на мою дешевую уловку. – Речь идет о жалких трех косарях, не о тридцати. Не тычь мне в нос бюджетом.

Я всем сердцем ему сочувствую. Бюджетный данс макабр, ежесеместровый этот ритуал, нелеп. Нет никаких разумных причин, почему нельзя нам сообщить заранее, будет ли достаточно денег на финансирование нужного количества семинаров творческого письма для первокурсников. Но требовать разумных причин и есть ошибка логики.

– Как я уже сказал тебе вчера вечером, я делаю все, что могу.

– Вчера вечером – это ты о чем?

Билли Квигли забыл, что звонил мне, и, судя по озадаченной и воинственной гримасе на опухшей физиономии, он ничего не помнил ни о самом разговоре, ни о том, что завершили мы его дружески, даже сентиментально.

– Билли, – сказал я. – Хорошего тебе дня.

– Хэнк, – сказал Билли Квигли. – Тебе самого паршивого.

Глава 6

До студенческого центра рукой подать, но теперь дорога удлинилась из-за обширных раскопок – летом тут вырастет новый колледж технических наук. Церемония начала строительства намечалась в первую неделю месяца, но одна из шишек, наш конгрессмен, спускаясь по трапу чартерного самолета и приветливо помахивая рукой на камеру – воображаемым избирателям, оступился на первой ступеньке и сломал себе лодыжку на второй, из-за чего церемонию начала строительства вынужденно перенесли на сегодня, когда котлован уже выкопан. Придется искать такой угол съемки, чтобы огромная яма не попала в кадр, когда конгрессмен символически поднимет на лопату «первый ком земли».

По правде сказать, эта ямища пробуждает во мне тревогу, и не потому, что конгрессмен от Пенсильвании пал, исполняя свой долг по пути на официальную церемонию. Возможно, говоря я себе, нехорошее предчувствие связано с тем сюрпризом – копией моего собственного дома, – который вырос на моих глазах из предыдущего котлована, и вид нового котлована вызывает у меня страх перед очередными сюрпризами. Хотя, казалось бы, эта яма в земле должна меня ободрять. Все кампусы университета боролись за этот колледж, а заполучили его мы – явное поощрение в наши скудные времена.

Скоро зальют бетонные опоры, из земли вверх полезут стены, летний воздух наполнится стуком отбойных молотков, пением дрелей и голосами людей, которым необходимо срочно донести до товарищей жизненно важную информацию («Голову береги нах!»), когда закачаются в пыльном воздухе стальные балки.

Все это совершенно естественно будет расти из пока неосвященной, но уже несомненной дыры в земле, и все это означает, что слухи о надвигающейся чистке преподавательских рядов попросту не могут быть правдой. Даже университетские администраторы не настолько глупы, чтобы потратить миллионы на новый корпус в тот самый год, когда собираются разорвать постоянные контракты, ссылаясь в свое оправдание на финансовые трудности. А вдруг они вовсе не собираются строить здесь новый корпус? Пригласят всех преподавателей выпить «Кул-эйд» после баскетбольного матча на ослах да и закопают в братской могиле. Такой сценарий тоже соответствует известным фактам, и пусть через века до меня донесся смешок Уильяма Оккама, этот звук не рассеял моих подозрений. В данный момент котлован гораздо больше похож на могилу для тупых сотрудников университета, чем на новый, супероснащенный технический центр, и я не удержался от нервной улыбки при мысли, что администрация могла бы одним ловким финтом избавить всех нас от страданий.

На дальнем берегу пруда, там, где под высокими деревьями легче укрыться от ветра, жмутся тридцать-сорок уток и гусей. Сейчас как раз время птичьих миграций, но эти-то живут в кампусе круглый год, на постоянном контракте, всем довольные, питаюсь попкорном и прочей ерундой, которой с ними делятся студенты. Слишком жирные, чтобы пуститься в полет, и, как говорится, слишком уродливые, чтобы думать о любви. Сидят на берегу неподвижно, словно забытые манки.

Их легко обмануть: они давно позабыли верные свои инстинкты, слишком часто поддаваясь низменным соблазнам. Головы вращаются, в то время как тушки неподвижны, и стоит мне вынуть руку из кармана и прикинуться, будто я рассыпаю по берегу попкорн, птички устремляются ко мне, клином переплывают ровную гладь пруда. Мне бы хотелось, чтоб они были сообразительнее, умели с того берега разглядеть, что я ничем их не угощаю. От охотников я слышал, что утки умные, у них замечательное зрение, они сверху, в полете, различают малейшее движение на земле – например, видят глаза охотника.

Если это так, то наши утки – деревенские идиоты. Вот они вперевалку выходят из воды и топчутся на коричневой траве в поисках того, что я будто бы им бросил. Видят же, что ничего

нет, и все равно ищут. Протестующе гогочут, все громче, крещендо. Среди уток трое крутых с виду белых гусей, один из них, самый высокий и элегантный, подходит ближе и шипит на меня, широко раскрыв клюв, темная беззубая щель выглядит неожиданно угрожающей. Белая грудь слегка подкрашена ржавчиной, это напомнило мне о том, как накануне я чихнул и капли крови полетели через стол.

– Финни! – обратился я к гневному гусю. – Que pasa?

Гусь снова зашипел, и я вынул руки из карманов, демонстрируя всей компании, что у меня при себе нет попкорна, черствого хлеба, сластей. Несколько уток соскользнули с берега в воду и медленно поплыли обратно, пару раз досадливо крикнув на прощанье. За ними последовали все остальные, оставив меня наедине с гусем, которого я назвал Финни.

– Зря ты меня попрекаешь, – сказал я. – Сам виноват.

– Профессор Деверо? – послышался чей-то голос у меня за спиной.

Это Лео, студент моего творческого семинара. Долговязый и неуклюжий, рыжеволосый, с длинной прыщавой шеей. Пару месяцев назад он поделился со мной, как с единственным, кто способен его понять, что ко всем прочим предметам он относится пренебрежительно, и не столько потому, что их преподают глупцы, сколько потому, что ему жаль отрывать время от творчества. Ему даже на еду и сон времени жаль. Он живет лишь ради того, чтобы писать.

– Есть немало других причин, чтобы жить, – сказал я. – Тем более в вашем возрасте.

– У меня нет, – заявил он непреклонно, словно подозревал, что я жду именно такого ответа, безоговорочной присяги на верность. – Все говорят, это одержимость, – добавил он, и лицо под рыжими волосами вспыхнуло. Он подписан на кучу журналов для писателей и читает все интервью с авторами. – Пишешь потому, что не можешь не писать. У тебя нет выбора.

– Конечно же, у вас есть выбор, – возразил я, не желая закреплять столь романтические представления о творчестве у юноши с весьма скромным даром.

– У меня нет, – повторил он. – Быть писателем – или не быть вовсе.

Разговор этот состоялся в феврале, а теперь уже настала весна и все расцвело (кроме таланта Лео). На семинаре мы привычно препарируем его рассказы. Сегодня он принес на обсуждение очередной опус, и я догадываюсь, что автору предстоят невеселые часы. А еще боюсь, что он спросит мое мнение, хотя я с самого начала запретил всем участникам семинара задавать этот вопрос. К счастью, сейчас Лео интересовало другое:

– С кем вы разговариваете?

– С гусем, – признался я.

Лео воспринял мой ответ с облегчением:

– Я-то испугался, не разговариваете ли вы сами с собой.

Кафетерий студенческого центра разделен на большую общую столовую и помещение существенно меньше – для преподавателей и сотрудников. Разделение чисто условное, никакими официальными табличками оно не обозначено, и все же студенты держатся в стороне от преподавательской зоны. В начале осеннего семестра какой-нибудь первокурсник забредал порой сюда, видел твидовые костюмы, разворачивался и поспешно отступал, как священник, угодивший в предбанник борделя. Через пару недель все новички уже знали и уважительно соблюдали границы нашего пространства. А вот я их границы так свято не берегу и частенько сажусь за столик в студенческой столовой.

В книжном киоске напротив кафетерия я купил «Зеркало Рэйлтона» и прихватил номер студенческой газеты, хотя ничего бодрящего никогда в ней не находил. Я просмотрел «Зеркало заднего вида» в надежде на продолжение истории Уильяма Черри – человека, который в начале месяца лег ночью на железнодорожные пути и лишился головы. В первой статье были намеки на какие-то пока не раскрываемые обстоятельства, но вполне возможно, что самая простая разгадка – отчаяние. Вместо продолжения, которое я хотел бы прочесть, мне подсунули раз-

дел «мнений» со статьей моей матери – мать, как и сын, частенько появляется в этом издании. Нынче она критиковала департамент жилья и городского строительства, ответственный за высотное здание дома престарелых, где мать трудится волонтером, хотя половина обитателей этого дома ее моложе. Заодно мать решила разобраться с политикой департамента здравоохранения, направляющего психически больных пациентов в корпус, изначально предназначенный исключительно для граждан пенсионного возраста. Ошибочность этой политики мать проиллюстрировала случаем с юношей из Белльмонда, соседнего с нами города. Через две недели после того, как парнишку переселили из специализированного заведения, он поднялся на лифте на верхний этаж Башни Белльмонда, затем по лестнице на крышу, перелез через ограждение, оглядел мир с высоты и спрыгнул. Восьмидесятилетняя женщина, отдыхавшая у себя на балконе, видела, как он пролетал мимо, и слышала, как он грохнулся на капот припаркованной внизу машины с такой силой, что включилась сирена и вопила еще двадцать минут, пока дверцу в машине не разрезали «челюстями жизни» и не отключили сигнал. Моя мать, если я правильно понял ее мысль, утверждала, что престарелая женщина не должна быть свидетельницей подобных трагических событий. Психическим пациентам, которым не исполнилось шестьдесят пять лет, нужно предоставить другое здание, пусть оттуда сигают.

Наверное, мне тоже полагалось иметь свое мнение по этому поводу, но после маминой статьи я почувствовал, как меня растеребила ее логика. С мамой я почти никогда не соглашаюсь, слишком уж хорошо я ее знаю. И наверное, человек строгой морали не стал бы отвлекаться на второстепенные детали и задумываться, видел ли и юноша ту старуху, когда пролетал мимо ее балкона, и не опомнился ли он, заметив промелькнувшее в окне лицо – за миг до того, как заголосила сирена. В бытность свою писателем я бы, наверное, сумел оправдать подобные размышления, поскольку странные детали и неожиданные ракурсы и есть то, из чего строится впечатляющий рассказ, но сейчас подобные мысли свидетельствовали скорее об умственной расхлябанности, о недостатке сочувствия.

В студенческой газете куда больше смешного, хотя в основном юмор возникает неумышленно. За исключением первой страницы (университетские новости) и последней (спорт), это издание почти целиком состоит из писем в редакцию. Я просмотрел их – во-первых, проверяя, не упоминается ли мое имя, во-вторых, в поисках чего-то необычного, а по нынешним временам необычна любая тема за пределами несвятой троицы жалоб на недостаток эмпатии, сексизм и фанатизм. Пламенные и не всегда владеющие слогом авторы писем желают уведомить читателей, что выступают против всего этого. Коллективно они уверены, что праведное негодование искупает и даже перевешивает все изъяны пунктуации, орфографии, грамматики, логики и стиля. И культура теперь на их стороне.

На первой странице две большие статьи, одна о предстоящей сегодня официальной церемонии начала строительства технического колледжа, вторая извещает наше сообщество о том, что длившиеся год работы по удалению асбеста близки к завершению и остался лишь корпус современных языков. На фотографии рабочий, занимающийся удалением асбеста, в маске и спецодежде. Я всматривался в фотографию и пытался понять, каким образом этот мужчина, чье лицо и фигура полностью скрыты, может напоминать мне Уильяма Генри Деверо Старшего, родителя не только моего, но и Американской Литературной Теории, который после сорокалетнего перерыва собирается вернуться если не в жизнь своего сына, то, по крайней мере, в места, где тот обитает.

Но вместо того, чтобы вволю поразмышлять о возвращении У. Г. Д. Ст., я вытащил очередную опус Лео и принялся читать: нужно хоть бегло ознакомиться перед дневным семинаром. Рассказ, очевидно, был вдохновлен кинематографом (вернее, антивдохновлен). Призрак давно умершего убийцы возвращается каждые двадцать лет терроризировать один и тот же городок, живописно расправляясь с потомками тех местных жителей, кто сто лет назад приговорил его к повешению. Заключительную сцену можно считать кульминацией лишь постольку,

поскольку, убив молодую женщину, чья единственная вина, похоже, заключается в склонности крутить динамо, призрачный убийца насилует ее труп. Убийство заняло один в меру длинный абзац, акт изнасилования растянулся на полторы страницы (строки через один интервал). К рассказу автор прикрепил записку от руки, адресованную мне лично. Лео выражал одно-два небольших опасения. Его беспокоило, не перестарался ли он в сцене изнасилования, а также он хотел меня уведомить, что повествование не закончено. Сначала задумывался небольшой рассказ, но вполне вероятно, это вырастет в роман. Под вопросом о сцене изнасилования я написал: «Некрофилию всегда следует приглушать». И внизу последней страницы: «Обсудим».

– Хорошо, обсудим, – раздался голос у меня за плечом, и в этот раз, обернувшись, я увидел Мег, дочь Билли Квигли.

– Отрада усталых очей, – сказал я, приглашая ее сесть рядом.

И это правда: вроде бы ни у Билли Квигли, ни у его многострадальной жены не имеется особо удачных генов для передачи потомству, но все их дочери вышли красавицами. От красоты Мег только что дух не захватывает, и, как большинство по-настоящему красивых женщин, она ни на кого не похожа. Остальные сестры все более-менее одинаковы, словно юные актрисы мыльной оперы, но такое лицо, как у Мег, не надеешься увидеть вновь в том же столетии.

Она выдвинула стул и села напротив меня. В руках исходящая паром чашка чая и коричневый бумажный пакет, внутри него что-то похожее на теннисный мячик.

– Не знала, что в эстетике некрофилии действуют четкие правила.

Я откинулся к спинке стула и всмотрелся в девушку. У нее в пакете персик, вот что у нее там.

– Только что наткнулся на твоего старикана, – сказал я. – Выглядит не слишком хорошо.

– Даю ему год, – ответила Мег.

Она всегда отзывается об отце небрежно и жестко. Они быются насмерть. Публичная позиция Мег: ее отец – идиот. Подозреваю, что приватное ее мнение существенно отличается от демонстрируемого прилюдно. Она побывала замужем за человеком, который недотягивал до уровня Билли, и теперь активно ищет мужчину, который мог бы сравняться с этим мериллом, но ей не слишком везет – по крайней мере, в Рэйлтоне. Эта ее активность – одна из причин раздоров с Билли. Однажды вечером посреди осеннего семестра мне на кафедру позвонил человек, искавший отца Мег, которая напилась и вырубилась в городском пабе. Этот человек хотел, чтоб Билли приехал за своей дочерью. Поскольку Билли в тот момент вел занятия и поскольку он прекрасно мог обойтись без таких новостей, я откликнулся на этот вызов, загрузил Мег на заднее сиденье «линкольна», отвез в ее квартиру, сгрузил на диван в гостиной и обратился в бегство, когда она, полупроснувшись, попросила раздеть ее и уложить в постель.

– Значит, пора тебе с ним примириться, – сказал я. – Ты же его любимица.

Мег покачала головой:

– Я охреневаю, когда попадаю к ним. Передать не могу, что творится в доме.

Но я вполне мог вообразить. Дом Квигли деградировал вместе со всем районом, краска облупилась, крыльцо сгнило, крошечная лужайка и даже обочина подъездной дорожки заросли сорняками. Когда Лили и я приехали в Рэйлтон, Билли жил в солидном районе среднего или чуть ниже среднего класса, там селились многие молодые сотрудники университета. Ныне это вотчина деморализованных работников железной дороги, они перебиваются то на пособие по безработице, то на государственные субсидии, их мародерствующие отпрыски гоняют по улицам до поздней ночи, забывая об уроках, которые им задает моя жена, и с нетерпением ждут, когда же подрастут настолько, чтобы, обзаведясь фальшивым удостоверением личности, вскарабкаться на барный стул рядом со своими унылыми родителями в безрадостном кабаке, в чьих темных окнах давно уж не меняли устаревшую рекламу пива.

– Думаю, он нуждается в моральной поддержке, вот и все.

– А кто не нуждается? – На миг жесткая маска свалилась, но тут же вернулась. – Сознать, что самым своим существованием ты обязана чужой дури, не так-то приятно.

Я знал, что спорить ни в коем случае нельзя, разве что я хочу затеять скандал прямо тут, в студенческой столовой.

К ортодоксальному католицизму своих родителей Мег относится без капли снисхождения. После появления на свет десяти маленьких Квигли (а еще случилось три выкидыша) семейный врач предупредил миссис Квигли, что новая беременность поставит под угрозу ее жизнь, однако она и думать не хотела о каких-либо средствах контроля рождаемости, пока молодой приходской священник, недавно прибывший в Рэйлтон, не поговорил с ней с глазу на глаз и не убедил ее в том, что она свой долг выполнила и большего Бог не требует. Мег была пятой из десяти, и она постоянно твердила, что будь у ее родителей хоть одни мозги на двоих, они бы остановились на четвертом ребенке. Среди прочих качеств Мег это у меня тоже вызывало уважение: большинство людей предпочло бы захлопнуть дверь после того, как сами в нее протиснулись.

Поскольку я вел себя хорошо и не стал возражать, Мег предложила мне кусочек персика.

– Посмею ли? – спросил я.

– Вот в чем вопрос, – кивнула она.

И я не посмел, хотя, вероятно, проблема была не в моей отваге. Мег заигрывала со мной с того самого дня, как я отказался раздевать ее и укладывать в постель, и я отвечал на ее заигрывания, должно быть, потому, что мы оба видели в этом всего лишь флирт. Обоюднo считалось, что стать любовниками нам мешает только моя трусость. Мужчину моего возраста подобные намеки не могут не заинтересовать – заинтересовать почти достаточно, чтобы попытаться выяснить, посмею ли я, если бы не подозрение, что мои корчи доставляют Мег куда больше удовольствия, чем доставил бы секс. Корчась, я думал, что сам больше удовольствия получил бы от секса.

– Нет, – решила она наконец. – Нечего было так долго колебаться.

Доев персик, она с усмешкой протянула мне косточку:

– Вот! Было – и не стало.

– Есть и другие персики, – сказал я.

– Такого больше нет. Этот был самый-самый лучший.

Сожаления? Да, кое-какие у меня были.

Она встала:

– Пора на занятия. У меня будут курсы осенью?

– Надеюсь, – ответил я ей так же, как ее отцу. – Приложу усилия.

– Давно пора принять в профсоюз и нас, ассистентов.

– Рассчитывай на мой голос.

Она фыркнула, будто мои посулы недорого стоили в ее глазах. Возможно, ей было даже кое-что известно о шатком моем положении в профсоюзе.

– Что мой идиот-отец придумал для меня на этот раз – уму непостижимо!

– Что же?

– Снова отправиться на учебу и защитить диссертацию, – пробурчала она. – Обещает все оплатить.

– Вот придурок! – подыграл я.

Лицо ее омрачилось.

– Легче на поворотах! Это же мой старикан, а не кто-нибудь!

Глава 7

Кампус находится на окраине города, в пяти или десяти минутах езды от делового центра – в зависимости от того, удастся ли проскочить оба светофора на зеленый свет. Джейкоб Роуз назначил мне встречу в «Кеглерсе», в центре города, на полдень. В кампусе деканы не едят. Мы будем обедать возле дорожки для боулинга. «Кеглерс» находится по ту сторону железнодорожных путей, что делят город ровно пополам. В Рэйлтоне нет хорошей стороны, как нет и плохой. Действует другое правило: чем ближе селишься к железной дороге, тем хуже. В пору процветания, когда все поезда в Чикаго и далее на запад проходили через город один за другим, спастись от сажи и грязи можно было, только забравшись на холмы выше той линии, где оседала гарь. На нижнем ярусе дома зарастали слоями серой пленки. Ныне, хотя железная дорога почти мертва, остов делового центра все еще остается таким грязным и серым, что дожди его не отмывают, даже если будут идти месяц подряд, и весь город столь отвратен, что и здесь, и на уровне штата чиновники трудятся сверхурочно, изыскивая средства для того, чтобы завершить отрезок четырехполосного шоссе север – юг, которое пройдет мимо Рэйлтона. Строительство сулит вакансии хронически безработным служащим железной дороги, новое шоссе должно облегчить жизнь дальнотойщикам, избавить от пробок на узких улочках в центре города. В этом смысле шоссе прославляли как шанс на экономический расцвет для всего региона, однако после окончания строительства четырехполосный хайвей завершит изоляцию Рэйлтона: проезжающим мимо уже не придется ни останавливаться здесь, ни даже снижать скорость.

Я приехал заранее, однако Джейкоб Роуз был уже на месте. Более того, он вовсю уплетал сэндвич с солониной.

– Извини, – сказал он, когда я выдвинул стул для себя. – Пришлось втиснуть еще одну встречу на двенадцать тридцать, так что я поем и побегу. Попробуй солонину.

Эта часть обеденного зала нависает над расположенным ниже боулингом, из двадцати двух дорожек отсюда видно только две. Неуклюжий, медлительный малый в мешковато свисающих джинсах делает мерзкий сплит и орет:

– Мать твою так!

– Тебя здесь солонина привлекает или атмосфера? – поинтересовался я.

– В Рэйлтоне атмосферы нет нигде, – ответил Джейкоб. – Нос у тебя – красотища!

– Спасибо.

– Я слышал, это дело рук Грэйси, – продолжал он. – А ты, должно быть, оберегал пах.

С виду солонина и впрямь хороша. Я огляделся в поисках официантки. Похоже, тут всего одна, и та в другом конце зала флиртует с барменом.

– Правильная стратегия, – одобрил декан. – С Грэйси всегда жди подлого удара снизу.

Полагаю, это личный опыт.

– Но при этом подставляешь все остальное.

– Подставлять все остальное – фирменный прием Хэнка Деверо, – сказал Джейкоб.

Я помахал официантке, но та все еще не замечала меня. Развернулась и пристроила пышные бедра на барный стул.

– Мне жаль усугублять твои проблемы, – сказал декан.

– Ну так не усугубляй их, бога ради! – Я украл у него кусочек жареной картошки.

– Но, может быть, для тебя это не такая уж плохая весть. – Он вытер рот бумажной салфеткой и слегка отодвинулся от стола. – Ревизия кафедры английского языка и литературы перенесена. Внутренняя проверка начнется в сентябре, внешняя последует в октябре. Если тебе где-то задолжали услугу, сейчас самое время об этом напомнить.

Я провел руками по волосам.

– Дикость какая-то, – сказал я. – У нас же переходный период. Мы ищем нового заведующего.

– В чистом виде финансовый вопрос, – пояснил Джейкоб. – Комиссия посетит также Восточный и Северный филиалы. Таким образом, все три кампуса подвергнутся ревизии одновременно, и ребята из администрации смогут пропагандировать свою любимую идею, что мы – единый университет, хоть и разделенный географически.

– Идеологически разделенный, вернее было бы сказать. Философски. Демографически. Экономически.

– Как бы то ни было. А насчет переходного периода можешь не волноваться, денег на нового заведующего вам все равно не выделят. Это строго между нами. Официально тебе об этом сообщат на следующей неделе.

– Имеет ли смысл спрашивать почему?

Джейкоб пожал плечами:

– Ты мог бы задать вопрос, а я мог бы на него ответить. Но это лишь обозлит тебя. Испортит аппетит перед ланчем. Закажи себе наконец что-нибудь.

Он оглянулся через плечо и сразу же поймал взгляд официантки, той самой, которая меня в упор не видела. Теперь же она соскользнула со стула и подошла к нам.

– Все понравилось? – спросила она.

– Все замечательно, – ответил декан. – Мне бы еще кофе.

Она уже повернулась уходить, но тут декан спохватился:

– Ничего не закажешь, Хэнк?

Девушка уставилась на меня в изумлении, словно я только что материализовался за столом.

– Ой! – вскрикнула она. – Привет!

Я заказал сэндвич с солониной. Она записала заказ, принесла декану кофе и вернулась на барный стул.

– Не для протокола: никто не верит, что все проблемы английской кафедры будут решены, стоит нам пригласить заведующего со стороны, – продолжил Джейкоб.

– Такова изначально была и моя позиция, если помнишь.

– Значит, в кои-то веки вышло по-твоему, – улыбнулся Джейкоб. – И кстати, Финни просил меня выступить третейским судьей. Он не хочет, чтобы ты проводил собеседования с кандидатами. Говорит, поскольку ты изначально был против самой идеи искать кого-то нового на это место, тебе не следует руководить отбором. А раз никаких интервью не предвидится, я собираюсь решить этот спор в его пользу. Пусть хоть чему-то порадуются.

– Держу пари, твой род восходит по прямой к Соломону.

– Он также грозит подать в суд, если ты не прекратишь издеваться над его ученой степенью от Вентура Бульвар Буррито Дворец и Школа искусств. По мнению университетского совета, мы тут ничего сделать не можем. Финни сам поставил себя в смешное положение, приобретя степень от неаккредитованного института, это его дело, но и мы окажемся в смешном положении, если устроим разбирательство. Вот если он когда-нибудь вздумает подавать на ставку профессора, тут-то мы и ткнем этим ему в нос, но до тех пор...

– Да ладно, – сказал я. – Вовсе не хочу, чтобы его уволили. Всего лишь пытаюсь минимизировать причиняемый им ущерб.

– Тут мы расходимся, – сказал Джейкоб, отодвигая пустую чашку, и голос его выражал добродушную покорность судьбе. – Я бы с удовольствием уволил ублюдка. Но мне пора.

– Послушай, пока ты не испарился, скажи наконец, когда я получу свои денежки.

Он глянул на меня выразительно – мол, не следовало задавать этот вопрос. Да, знаю.

– Когда я получу свои.

– Это не ответ, – сказал я.

– Знаю. Чего ты добиваешься?

– Твоего обещания. И чтобы ты позволил мне дать кое-кому обещания. Деньги в итоге всегда выделяются. Почему бы не избавить наших преподавателей от лишних переживаний? Назовем это подарком к Рождеству, пусть и сильно заранее.

– Ты не учитываешь целевую аудиторию.

– Окей, подарок на Йом Киппур.

– Да хоть на Рамадан. Я не могу дать тебе деньги, которых у меня нет. Если я пообещаю, а бюджет не будет принят, кому от этого станет лучше? Мы каждый год проходим через эту хрень. Все правила известны назубок.

– Пусть правила известны назубок, это еще не значит, что они правильны. – Очередной мой бесполезный афоризм. – Ты мог бы поднять этот вопрос, если бы счел нужным. Мог бы в кои-то веки поступить как надо, хотя бы для разнообразия.

Джейкоб напустил на себя то усталое выражение, которым он всегда прикрывается, когда я захожу чересчур далеко, полагаясь на тот факт, что мы оба в молодости были простыми смертными, вместе играли в футбол и даже пережили отказ в постоянном контракте.

– У тебя не случается кровотечений из носа там, на моральной высоте?

Я улыбнулся невинно:

– Из этого носа?

– А, точно. О чем я только думал.

– Я серьезно, Джейкоб, – сказал я и с удивлением понял, что действительно отношусь к этому со всей серьезностью. Бывает обидно, если не удастся трудное дело, но когда простые вещи нельзя сделать безо всякой на то разумной причины, это не просто обидно – чувствуешь, что все прогнило до самых печенок. – У меня, между прочим, есть кафедральные бланки. Наверняка тебе придется нести ответственность за любые гарантии, которые я дам письменно. Будешь меня злить, я не только продлю контракты – я еще и пообещаю увеличить оклад.

– На том и кончится твоя карьера заведующего.

– Не пытайся угрожать мне, – сказал я. – Во всем университете едва ли сыщется два-три человека, способных принять всерьез угрозы Джейкоба Роуза, и я не из их числа.

Едва эти слова были сказаны, как мне стало стыдно, потому что, разумеется, это было жестоко, – жестоко, ибо правда. Среди старших сотрудников мало кто уважает Джейкоба или прислушивается к его мнению. Отчасти потому, что гуманитарный факультет сам по себе не пользуется особым уважением, отчасти потому, что, сколько бы он ни строил из себя крутого, ему плохо даются словесные баталии, а именно в них и наносятся наиболее важные административные удары. Все знают, что он человек приличный, мягкий, а в результате ему то и дело велят смириться и сдаться. Джейкоб отбросил маску своего парня, желая показать мне, что обижен, и сказал сухо:

– Сделаю, что смогу.

Я и сам с утра дважды произнес ту же фразу, так что вовсе не был осчастливлен, когда бумеранг вернулся ко мне.

В добрых намерениях Джейкоба я не сомневался – теперь, когда, уязвленный мной, он решился их декларировать, – но оставался открытым вопрос, насколько упорно он станет осуществлять эти намерения, какие приоритеты вновь займут свои места, когда пройдет боль от моего жала. Мне ли не знать, как это бывает, ведь и мои намерения слабеют, мои собственные приоритеты перестраиваются словно и вовсе без сознательного участия Уильяма Генри Деверо Младшего.

Декан отодвинул стул и встал. Официантка вернулась с чеком.

– Я заплачу! – усмехнулся Джейкоб.

– По справедливости так, – заметил я.

– Ой! – пискнула официантка, напуганная неожиданным звуком моего голоса. – Я забыла передать ваш заказ кухне.

Я попросил ее не беспокоиться.

– А ты чаевые, идет? – К Джейкобу вернулось хорошее настроение.

Я оставил довольно щедрые, в данных обстоятельствах, чаевые. Ирония – вот чего я в жизни ищу.

Девушка просияла улыбкой:

– Приходите к нам еще!

Вот тебе и ирония.

На парковке Джейкоб сказал:

– Почему это женщины либо вовсе тебя не замечают – либо пытаются оторвать тебе нос?

– Буду рад снова перекусить с тобой, – ответил я.

– Как Лили?

– В порядке, – сказал я и, не удержавшись, спросил: – А как Джейн?

Десять лет назад она выгнала его после восемнадцати лет супружества.

– Пошел ты, – буркнул он.

Я подумал: какого черта, почему не запустить пробный шар?

– Тут недавно интересный слух прошел, – сказал я, следя за его реакцией.

Реакции – ноль, что само по себе значимо.

– Ты приживешься в академическом мире, – сказал Джейкоб. – В нашей пустыне слухи и есть манна.

– Гипотетический вопрос. – Я решил копнуть глубже. – Предположим, декан – например, гуманитарного факультета – на этот раз и в самом деле что-то узнал. Поделится ли он своими знаниями со старым другом?

– С тем старым другом, который оскорбляет декана и сомневается в его порядочности? Который всегда ведет себя как заноза в заднице? – уточнил Джейкоб. – Вероятно, декан с ним поделится – в уместный момент.

– Уместный момент наступит вскоре?

– Вскоре? Думаю, «вскоре» – вполне подходящее слово.

– Правду говорят: должность меняет человека, – сказал я.

– Я слышал, твой отец перебирается в Рэйлтон?

Я замер. Я никому не говорил об этом, кроме Лили.

– От кого ты слышал?

– От твоей матери. Она интересовалась, не будет ли у нас места почетного профессора. Для Уильяма Генри Деверо, сказала она. Сначала я подумал, она хлопчет о тебе, и засмеялся. Потом до меня дошло, что речь о твоём отце.

Я улыбнулся и кивнул, признавая, что он меня зацепил, но больше никак не отреагировал на подначку.

– И что ты ответил?

– Сказал, что об этом ей следует поговорить с ректором. Она сказала, у нее есть его номер.

– У нее есть номера всех и каждого, можешь мне поверить. Даже моего отца. Только пользы ей это еще ни разу не принесло. Теннис в субботу? – предложил я, меняя тему.

– Не смогу, – ответил Джейкоб. – Меня не будет в городе. Ты остаешься за главного. Ничего не делай, понял?

– Предупреди меня, если получишь новое место.

Судя по реакции Джейкоба, я угадал. Он приложил палец к губам:

– Если получу, возьму тебя с собой.

– Спасибо, не надо, – отказался я. – Тут такое веселье, не могу оторваться.

Я выехал с парковки следом за деканом; мы оказались у переезда как раз в тот момент, когда семафор вздумал переключиться на красный и начал опускаться шлагбаум. Джейкоб втопил газ, и его «регал» проскочил под первой перекладиной шлагбаума и мимо второй. Послед-

нее, что я увидел, прежде чем нас с ним разделил товарный поезд, — декан ликующе показал мне средний палец.

Глава 8

Моя мать живет в том районе Рэйлтона, который некогда, очень давно, считался зажиточным. В лучшую пору железной дороги здесь был просторный публичный сад, а окрестности этого сада были застроены величественными викторианскими и эдвардианскими зданиями, в том числе и особняками, – уцелели немногие на той самой улице, где поселилась моя мать, и по большей части это развалины. Да и сада уже нет, в тридцатые годы его превратили в парк аттракционов, который поначалу процветал, а под конец шестидесятых испустил дух. Только и осталось от него, что признанное негодным скрипучее колесо обозрения, пустой панцирь, из которого изъяли карусель, и огромный павильон с видом на рукотворное озеро (ныне грязную ямину) – там устраивались летние танцы и концерты. Несмотря на такую запущенность, бывший сад, он же парк аттракционов, считается самой ценной недвижимостью во всем городе, хотя уже несколько десятилетий его судьба вязнет в тяжбах между алчными и равнодушными к его участи наследниками (они живут в другом штате).

Все дома на улице, где живет моя мать, разделены на просторные съемные квартиры, с высокими потолками, со сквозняками, ледяные, сколько их ни отапливай. Большинство домов, и мамин в том числе, принадлежат Чарльзу Перти, который на протяжении тридцати лет скупал их по бросовым ценам. Единственный не доставшийся ему особняк, старая развалина, был выкуплен церковью для теперь уже почти исчезнувшего женского ордена Сердца Господнего.

Припарковавшись у маминого дома, я обнаружил, что мистер Перти, живущий по соседству, устраивает свою ежемесячную дворовую распродажу, которая всегда длится с вечера четверга до середины субботы. Он расставил дюжину больших раскладных столов, накренившееся крыльцо полностью завалено картонными коробками с мусором, который мистер Перти вот-вот разложит на этих столах. Мистер Перти – падальщик мирового уровня; с тех пор как пару лет назад он передал свой бизнес – продажу уцененной мебели и приборов – сыну, который теперь не позволяет ему даже порог магазина переступить, мамин домохозяйин рыщет по гаражным и посмертным распродажам в глухих уголках Центральной Пенсильвании, а в свободное время ухлестывает за моей родительницей, которая в семьдесят три года (она его несколько старше), вероятно, обладает в глазах мистера Перти сходством с теми элегантными и непрактичными старыми домами, что он всю жизнь скупал. Однако моей матерью завладеть не так просто, как недвижимостью. Мама проявляет благосклонность, лишь когда ей нужно куда-то поехать (она больше не садится за руль), а меня нет под рукой. Тогда она милостиво разрешает мистеру Перти доставить ее по назначению на его полноразмерном пикапе – машине, которую она презирает, ибо хрупкой, деликатного сложения даме нелегко в нее залезть, к тому же сиденье вечно завалено хламом с очередной дворовой распродажи. Моя мать никогда не смотрит, куда садится, но терпеть не может, чтобы ее щипали за ягодички – даже неодушевленные предметы.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.